

ГРАНИ

GRANI

105

Verlagsort: Frankfurt/Main, Juli – September

1977

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXII

№ 105

1977 год

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Илья РУБИН — Революция. Поэма. «Приснилось мне...» и «Писать стихи...» Стихотворения	3
Феликс КАНДЕЛЬ — Коридор. Роман. Окончание	11
Леонид БОРОДИН — Стихи, написанные в тюрьме, где их пишут многие	163

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Борис ФИЛИППОВ — Заметки о поэзии Бориса Нарциссова	168
И. ШЁНФЕЛЬД — О документальной прозе в СССР	186

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

Илья РУБИН — Кто был никем...	199
В. ЛАМЗДОРФ — «Исторические закономерности» и наука	209
Раб Божий ЕВГЕНИЙ (ШИФФЕРС) — Параграфы к философии «ученичества»	241

БИБЛИОГРАФИЯ

Е. Брейтбарт. Терновый куст. — В. Володин. Отре- чение Петра Целестина. — В. В. Шафаревич о социализме. — А. Русак. Из тьмы веков.	263
Список книг, поступивших на отзыв	276

Обложка работы художника Н. Мишаткина

©1977 by Possev-Verlag
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main
Издательство «Посев»

Илья РУБИН

РЕВОЛЮЦИЯ

Поэма

*«Мы, лобастые мальчики
невиданной революции...»*

П. Коган

1

И начинают каблучки пажей
Выстукивать чечетку мятежей.

И засоряют память площадей
Цвета знамен и прозвища людей.

И пулеметы лезут на балкон,
Захлебываясь лентами окон.

Невыносимо низок потолок.
Невыносимо гениален Блок.
Невыносимы шорохи знамен,
Которым нету дела до имен!

Когда гортани рупоров мертвы,
Они уже не требуют жратвы.

Они, как жезла, требуют ружья.
Уже расстрелян и низложен я.

Уже калеки тянут кулаки,
Чтоб исправлять мои черновики.

2

Я постиг неизбежность френча.
Читаю революцию, как метеосводку.
Беру в руки винтовку.
Выхожу на улицу
И стреляю по освещенным окнам.
Приказываю:
Сегодня ликвидировать всех поэтов.
Завтра — художников, скульпторов, музыкантов.
Назначаю себя
Верховным Комиссаром Всея Руси.
Ордера и мандаты
Без моей подписи
Недействительны...

3

Не оскорбить твои знамена.
Твои бессонницы чисты.
Твои декреты и законы
Творят евреи и шуты.

Они на пленумах картавят
И ради счастья моего
На камне камня не оставят,
Не пожалеют ничего.

Листаю плоские равнины,
В далеких комнатах сижу,
Где полоумные равнины,
Как предисловье к мятежу.

На площадях и в синагогах
Они задумали меня,
Лаская женщин синеоких
Руками будущего дня.

Моя святая неудача,
Россия. Плачу и молчу.
Твоей пощечиной, как сдачей,
В кармане весело бренчу.

Худыми, узкими плечами,
Глазами, полными луны,
Люблю тебя, люблю печально,
Как женщин любят горбуны.

Измерю ширь твою и дальность
Подробным шагом муравья.
Во мне твоя сентиментальность,
И только злоба не твоя.

И только медленные слезы,
И тень ресниц на потолке...
Моя трагедия — заноза
В твоей сияющей руке!

Святые, легкие, как щепки,
Уже покоятся в гробах.
Уже распяты в пальцах цепких
Саднят железом на губах.

Очередями воздух порван.
И поезда издалека
Вонзают станции, как шпоры,
В мои кровавые бока.

Уже мешочники пируют,
Искусство брошено за борт,
И полоумные хирурги
России делают аборт.

Уже людей боятся люди,
Деревья просят топора.
Уже деревня голой грудью
Бросается под трактора.

О, Революция! растаешь,
Сгоришь в дыму библиотек.
Ты устаешь и вырастаешь,
Ты слезы пыльные глотаешь,
Грустишь и плачешь не о тех!

Страна повальных эпидемий,
Солдат, убитых наповал!
Нас тот же ветер отпевал,
Науки тех же академий
Двадцатый век преподавал.

Во-первых, серебро кадилъниц
Среди обители пустой
Невероятно, как Кандинский
В стране, где только Лев Толстой!

Невероятно постиженье
Падений, слов и падежей,
И между тяжких этажей
Невероятно продвиженье.

И, во-вторых, бредут заводы,
И раздирают песней рот,
И падают, глотая воздух,
Держась руками за живот.

И невозможна остановка.
Возможен выстрел сгоряча,
Когда, о будущем крича,
Забьется песня у плеча,
Продолговато, как винтовка!

И в-третьих, грустные Силены,
Стихами грустными звеня,
Проголосуют за меня
И вытолкнут меня на сцену.

Запричитаю торопливо.
Паду в тумане кровавом
Твоим суфлером терпеливым,
Твоим последним крикуном!

7

Я нахожу причину плача.
Она наивна и проста.
Под сенью черного креста

Обозначаю палача,
А рядом — жертву обозначаю,
Не отрываясь от листа.

И если жертва — это я,
То почему палач спокоен,
И почему его рукою
Начертана строка моя?

А если убиваю я,
То почему мой труп холодный
Горой кровавого белья
Оголодавшим птицам отдан
Среди продрогшего жнивья?

8

Умирают боги, умирают...
И, не смея плакать, до утра
Бабы шмотки мужнины стирают,
Чтоб отмыть вчерашнее «ура».

И, пропитан щёлоком и содой,
На штыках полощется закат.
И, вздуваясь, опадают годы
На губах больного старика.

И дворцы пылают, как сараи.
И, куда-то в Африку уйдя,
Умирают боги, умирают,
Сладковато падалью смердя!

Февраль — май 1965

* * *

Приснилось мне, что я — обманут.
Обманут другом и женой.
Я слепо шарю по карманам,
Ища последний четвертной.

И вот сижу с какой-то бабой
Среди потухших пьяных рыл.
И весь я сам — какой-то слабый,
Ну, вроде ангела без крыл.

И я кричу всему шалману,
Нелепый, жалкий и хмельной:
«Приснилось мне, что я обманут
Эпохой, Богом и страной!»

Но все молчат, и только баба
Бормочет что-то без конца.
И я бреду через ухабы
Ее безглазого лица.

Я отдыхаю, рот освоив,
Перодолев вершину лба.
Нас остается двое, двое —
Уже не пьянка, но судьба.

Мы обнажаем только тело,
А души плачут в уголке,
Как школьницы, кусочек мела
Запрятав в маленькой руке.

И грядет радость! Рожь приснится
И солнце круглое над ней.
Лежишь в сияющей деснице
Тобою смятых простыней.

И только тень твоя в шалмане
Еще тревожит мрак пивной:
«Приснилось мне, что я обманут
Эпохой, Богом и страной...»

* * *

Писать стихи, как плакать, помолясь.
Так плачет женщина, бесстыдно оголясь.
Писать стихи, как плакать от стыда,
Что нет на свете Божьего суда.

Ты будешь плакать, поражен стыдом.
Так плакал Бог, испепелив Содом,
Упав лицом в сырые облака.
Так плачут дети, молча содрогаясь,
Зажав зубами кончик языка...

Коридор

Роман

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

— Чья это ра-ра-ра...?

Ивана Егорыча будто палкой по голове ударили. Глаза вывалил, лысина красная, челюсть дрожит: страшно смотреть.

— Чья это ра-ра-ра..., я спрашиваю?

— Какая рарара, Иван Егорыч?

Староста класса, рыжий Вячик. Вежливо так, ласково, будто с больным.

— Чья это ра-ра-бота?.. — выдавливают Иван Егорыч и тычет указкой в Индийский океан.

Поперек океана матерное слово. Короткое, как выстрел в упор. От Мадагаскара до Австралии через все острова.

— Это не мы... — пугается рыжий Вячик.

— Это не мы... — шелестит класс.

— Борисенко!

— Чего? — вскакивает Витька.

— Где брат?

Сокращенный вариант. Часть первую см. в «Гранях» № 102, 1976. — Ред.

— Не знаю... Заболел, наверно... Я у тетки ночевал. Честное слово!

«Честное слово» — это он напрасно. Сразу видно, что врет. Но нет на месте Кольки Борисенко, и подумать не на кого. Колька старше других года на три, и среди буйной мелюзги с ее детскими делами и заботами живет нормальной жизнью взрослого мужчины: курит, пьет, гуляет с женщинами. Иван Егорыч уже звонил в военкомат, уже просил забрать Кольку в армию. А как его заберешь? Надо сначала из школы выгнать, а выгонять не за что. Он и учится нормально, и дисциплину не нарушает — повода нету. А вдобавок у Кольки еще и эпилепсия. В детстве под грузовик попал, когда на коньках за машины цеплялся. Как же его в армию брать для защиты рубежей, для укрепления обороноспособности, для устрашения врагов наших, ежели у него в любую минуту припадок может случиться?

— Кто?.. — шепчет Иван Егорыч, взмахивая указкой, и теперь уже кажется, что не его ударили, а он сейчас ударит. — Кто написал?!

И неотвратимость нависает серым, душным облаком, неотвратимость сгущается и становится осязаемой: унижающая неотвратимость наказания.

— Это не я! — кричит с места Саша Антошкин, кричит торопливо и отчаянно. — Честное слово, не я...

— Ну, ладно... — грозит Иван Егорыч. — После уроков поговорим! — и свертывает в трубку испорченную навеки географическую карту. Непедагогично показывать детям то, что они сами же и написали. А вокруг школы все заборы исписаны, вокруг школы картинки нарисованы для пояснения, чтобы прохожие не ошиблись, чтобы правильно поняли замыслы авторов. Но забор — это улица, забор — ничья территория, а карта — школьная, карта — пособие для

обучения подрастающего поколения, а не средство для пропаганды неприличных слов.

Расстроился Иван Егорыч, даже сердце заныло — в лопатку отдает. Сколько сил положил, сколько нервов истратил, чтобы утихла школа, оправилась от разбойных военных времен, когда три переростка: Долин, Ложкин и Богоявленский, — все трое с «фиксой» — золотой коронкой на зубе, сделанной из консервной банки из-под американской свиной тушенки, — держали в страхе всю школу, и по их знаку сбегалась шпана из окрестных дворов бить неугодного, строптивного, не желавшего подчиниться или делавшего это недостаточно проворно. Образцовая теперь школа, на весь район две таких: Ивана Егорыча и Ивана Степаныча. У Ивана Степаныча школа в самом центре, бывшая гимназия, сама красивая и красивыми домами окруженная. Это к нему со всей Москвы ответственных детей привозят, и мужчина в штатском у подъезда гуляет. Лихо подкатывают машины, дверцы наперебой хлопают, нарядные мальчики бойко выпрыгивают. Утром мальчиков подвозят, днем мальчиков отвозят: оживление вокруг школы, как у иностранного посольства на дипломатическом приеме, даже милиционер стоит, палкой махает. Прохожие останавливаются, во все глаза смотрят, а самые храбрые только головами качают. Вот уж оно воочию — счастливое детство. Школа Ивана Егорыча — ближе к окраине, в окружении облезлых, с торчащей из-под штукатурки дранкой, деревянных домиков, сарайчиков, заборчиков: то ли сначала она появилась, а потом уж они пристроились вокруг, то ли сначала они, а потом уж она влезла в середину своей серой типовой громадой. А вокруг дворы, тупики, закоулки, фантастические нагромождения нерегулируемых построек со своими щелями и тайниками, где за каждым углом могут встретиться огольцы-ребята. — «Эй, малый,

подь-ка сюда...» — и тут уж спасают сообразительность, реакция и быстрота ног...

Иван Егорыч начал рассказывать урок, нехотя, через силу, с отвращением и досадой, — всё опошילה и сделала бессмысленным эта проклятая надпись поперек Индийского океана, — а потом увлекся и отошел, и глаза привычно загорелись за стеклами очков не от увлекательности материала, — давно уж не увлекают его перечисления рек, гор, озер и полезных ископаемых, — а от звуков собственного голоса, как у профессионального оратора. Стоит у доски пожилой мужчина в бостоновом костюме с жилеткой, горбит усталую спину, в который уж раз одинаковыми словами рассказывает детям про страну, где они живут, про ее географические подробности, — а внизу, на первом этаже, — квартира директора при школе, — лежит его больная жена, которая требует ухода, и дочка у него, легкомысленная девица, тоже требует присмотра, и быт, проклятый быт, отнимает редкие свободные минутки, — стыдно сказать: не то что книгу — газету полистать некогда, — да еще беспрерывно прибегают нянечки, сообщают о происшествиях во второй смене, ждут от директора скорых, решительных мер. А нервы стали никуда, и сердце пошаливает, и сил не хватает подчинять своей воле тысячу человек, потому что учитель с годами стареет, а дети остаются неизменно молодыми. Хоронили этой весной директора соседней школы, говорили речи, плакали, гроб под музыку обносили вокруг школы. — «Зачем они играют на похоронах? Только мучают живых», — процессия из учеников и учителей растянулась на километр до Ваганьковского кладбища, и понял Иван Егорыч, что довелось ему, живому, увидеть собственные похороны, весь их торжественно-формальный ритуал, и как ни странно, это успокоило его и утешило.

Снизу, со двора, засвистели условным свистом.

— Жарко чего-то... — громко, на учителя, говорит Витька, приоткрывает окно и заодно выглядывает наружу.

Во дворе под окнами — Колька Борисенко. Колька здорово опоздал, чуть не на два урока. Теперь только в перемену войдешь, когда ребята на улицу выбегут. Но без сумки. С сумкой нянечка не пустит. С сумкой сразу к директору. А к директору Кольке нельзя. Кольке у директора — смерть.

— Давай ремень! — командует Витька и от своей сумки отстегивает, а Костя Хоботков, не понимая, тоже отстегивает. — Давай ремень, — шепчет Витька по рядам. — Давай ремень. Ремень давай!

Зашевелился класс, завозился. Отстегивают ремни, передают под партами, — кто от сумки, кто от брюк, — а Витька связывает, проверяет на прочность, и вид у него сердитый, и шепчет чего-то — брата ругает.

— Вить... — просит Костя. — Не надо. Не надо, Вить... Ремня не хватит.

— Хватит.

— Вить, не надо... Увидят.

— Не увидят.

И связку за окно.

Снизу, со двора, опять засвистели.

— Тяни! — командует Витька и тянет сам, а ремни ползут через подоконник, и вслед за ремнями, к великой радости прохожих, торжественно ползет вверх по школьному фасаду драная Колькина сумка.

Операция закончена, весь класс боязливо млеет от восторга, один Иван Егорыч ничего не заметил: сам себе рассказывает географию. Вдруг открывается дверь, на пороге завуч — Елена Васильевна.

— Иван Егорыч, — говорит она своим металлическим голосом, от которого плачут первоклашки. — Веду я сейчас урок, и, представьте себе, мимо моего

окна поднимают на ремнях сумку. Чтобы зря вас не беспокоить, я поднялась сначала на четвертый этаж, но там заперто. — Она делает эффектную паузу и громогласно объявляет: — Стало быть, это ваши!

Иван Егорыч краснеет, белеет, по-рыбы разевает рот...

— Ну, погодите... — шепчет Иван Егорыч, и горло перехватывает бессильной спазмой. — Ну, после уроков...

И с хрустом ломает указку.

Тут и звонок. Большая перемена.

2

Большая перемена — буфет.

Срываются с места, несутся по лестницам, выстраиваются у запертой двери, толкаясь и отпихивая друг друга, и наконец, врываются внутрь буфета, где на длинных столах уже стоят тарелки, и в каждой — бублик и карамелька. Суматоха в буфете, шум невообразимый, беготня и давка, как на вокзале при посадке в общий вагон. Наголодавшиеся за войну, еще не забывшие карточки, только начавшие отъедаться: всё для них притягательно. И бублик, и конфета, и винегрет из картошки со свеклой, который продается отдельно, и жареные в масле пирожки с повидлом: с одного бока куснешь — с другого повидло выскакивает. Жить стало лучше, жить стало веселее.

Вернулись ребята из буфета, жуют всухомятку, а Витька Борисенко продает свой бублик. Витька торгуется, Витька деньги выручает, чтобы за кружок заплатить. Организовали в школе кружок, учат ребят бальным, аристократическим танцам, которые пишутся через две черточки. Витька — человек упорный. Решил научиться — и научится. Это имеет для него принципиальное значение, потому что всё, что он ни

делает, имеет для него принципиальное значение. И не так уж ему хочется ногами дрыгать, но если танцуют другие, будет танцевать и он. Учительница танцев за голову хватается, когда он, упрямо одеревенелый, в па-де-катре проходит, учительница считает, что в строю ему маршировать, а не пируэты выписывать, что не научится он никогда и зря деньги переводит. Плохо она знает Витьку Борисенко.

Сидит Витька за партой: голодный, злой, на родного брата сердитый. Уже который год возится он с Колькой-переростком, из класса в класс за уши тянет, от дружков отваживает — мать жалеет. Соберутся дружки, такие же лбы-громилы, и кирпичами во дворе кидаются. Любимая игра — «На кого бог пошлет»: один подбросит — все разбегаются, и регочут-заливаются, старушек пугают. Или встанут кучкой в воротах, стоят — посвистывают в темноте, мимо пройти страшно. А недосмотришь — смотается Колька на сторону, дома не ночует, в школу черт-те когда приходит, а Витька должен врать-изворачиваться про какую-то тетку, которой у него сроду не было. Колька — парень хитрый, его голыми руками не возьмешь. Он давно уж смекнул, что учиться лучше, чем работать, и потому учится нормально, на первой парте для маскировки сидит, рядом с отличником. А от отличника и ему кое-что перепадает. Раньше его за уши тащили на первую парту, громилу, переростка, наглуую рожу, чтобы на виду был, чтобы глаз с него не спускать, а теперь от стола не отгонишь: поумнел Колька и понял свою выгоду. Если ему понадобится, он и отсюда пакость сотворит, а заподозрить трудно, заподозрить невозможно, когда торчит он перед самым носом, втиснул себя в детскую парту, ноги под столом почти до доски вытянул — учителя спотыкаются, и наглая рожу уже не наглая, а такая она у него от рождения, и не переросток он, а больной эпилепсией мальчик, и не громилка вовсе, потому что все

громилы во все времена, — каждому известно, — сидели на последних партах: не человек красит место, а место человека.

Рядом с голодным Витькой застенчиво притулился Костя Хоботков: бублик в рот не лезет. Разломать бы надвое и слопать за компанию, но он даже не предлагает: Витька только обидится. У Кости есть деньги и на винегрет, и на пирожок с повидлом, но он не покупает — стесняется друга. Он даже домой к Витьке не заходит, кажется ему, что Витькина мать — дворник — смотрит на него как-то особенно, не по-хорошему: и отец у него не убит, и живут они не в развалюхе, бревнами подпертой, и няня есть, и питаются лучше. У Витьки основная еда — картошка, из жиров — маргарин, а у Кости — и колбаса бывает, и яички, и сливочное масло. У Кости кровать — Витька спит на полу. У Кости окно на бульвар — у Витьки на помойку. У Кости обновки — у Витьки братановы обноски. У Кости велосипед — у Витьки шиш с маслом. Куда ни ткни: у Кости хорошо, у Витьки плохо. Но Витька не завидует. Витька никому не завидует, потому что на свете существует слишком много людей, кому бы он мог позавидовать. Когда он снег с тротуара сгребает или пыль метет вслед за матерью, Костя его стороной обходит. Стоять рядом — глупо, а взять метлу в руки — стыдно.

Наискосок от Кости жует свой бублик Саша Антошкин, меланхолично жует, без особой радости. Папа у Саши — врач-гинеколог с вывеской, мама у Саши — сверкает драгоценными бриллиантами. А на столе у них плетеная сухарница с печеньем, а скатерть у них камчатная, люстра хрустальная, мебель красного дерева, а в спальне — «птичий глаз». Сидит Антошкин на второй парте за могучей спиной Кольки Борисенко, всякую минуту ожидает от него пакости, и оттого невнимателен на уроках и низкая у него успеваемость. Задергали Антошкина еще в те времена, когда училась

в классе знаменитая тройца — Долин, Ложкин и Богоявленский, потому что поддался он им сразу, с первого наскока, и с тех пор поддавался непрерывно. «Полай!» — требовали они, и он лаял. «Поквакай!» — и он квакал и прыгал по-лягушачьи. И только дома он чувствовал себя в безопасности, дома он отдыхал, набирался уважения к самому себе. Но однажды они пришли к нему домой. Они шли по квартире, из комнаты в комнату, руки в карманах, голова втянута в плечи, — шпана шпаной, — озираясь по сторонам и равнодушно, из-под челочек, оглядывая книги, хрусталь и картины, а бедный Антошкин шел следом, искательно улыбался и горько плакал в душе, потому что теперь ему уже некуда было от них спрятаться. С тех пор они приходили часто, всегда втроем. Антошкина-мама поила их чаем с ванильными сухариками, вела культурные разговоры и очень удивлялась, почему ее сын дружит с этими вульгарными переростками, которых она наверняка бы испугалась, встретив на улице поздно вечером, испугалась бы за свое пальто и за свою честь. Напившись чаю, все трое — Долин, Ложкин и Богоявленский — вежливо благодарили маму, мило улыбались, — золотые коронки из консервных банок хищно вспыхивали в свете хрустальной люстры, — а потом шли в комнату сына, запирались на ключ, закуривали чинарики и по очереди подглядывали в дырочку, специально просверленную в стене, как раздеваются женщины на приеме у гинеколога. Давно уже нет Долина и Ложкина, и Богоявленский этим летом ушел в техникум, но остался Колька Борисенко, и нет-нет, а повернется он, вдруг, когда зазеваается учитель, и больно щелкнет Антошкина по носу.

Кусает бублик староста класса, рыжий Вячик: задумался — никого не видит. Живет рыжий Вячик неподалеку от школы, комнатенка крохотная, окно смотрит во двор, на фабрику по разливу вина, и пото-

му неумолчно рычат машины, гикают хмельные грузчики, и даже вахтер в воротах всегда навеселе. Посидишь у окна, насмотришься на нескончаемые грузовики с ящиками — такое ощущение, будто вся округа спивается. Прибежит рыжий Вячик домой, поест, отдышится и выучит наизусть все эти истории, географии да геометрии, а когда вызовут его отвечать, весь класс будет следить по книге и подсказывать пропущенные слова. Отличник рыжий Вячик, и зубрила: всё понимает, всё может объяснить, а зубрит обдуманно — метод у него такой. Наизусть выучишь — ничего не пропустишь. Не пропустишь — не придерутся. Живет он вдвоем с матерью, а отца нет, и неизвестно, где он. Был когда-то отец, и была у него черная машина с шофером — ЗИС-101, и катал он Вячика по московским улицам, а до этого катал по берлинским улицам и по парижским. Но этого Вячик уже не помнит, и не помнит он бессонных ночей тридцать восьмого года, в наркоминделовской гостинице, когда родители всю ночь сидели одетыми и прислушивались к шуму на улице. За полночь, как обычно, подъезжала к дому машина, топали сапоги по длинному, бесконечному от страха коридору — вся гостиница не спала, обречённо прислушивалась к уверенно-наглому топоту, — и они вместе со всеми ждали, что на этот раз сапоги остановятся у их двери: они обязаны были остановиться, чтобы во всем этом ужасе проявилась хоть какая-то логика. Но сапоги так и не остановились ни разу, предпочитая другие двери, и взяли отца тоже не по правилам: однажды он вышел из дома, но на работу не пришел и обратно не вернулся. Живет теперь рыжий Вячик без отца, зимой ходит в школу, летом ездит в лагерь, поет песни у пионерского костра, а папин портрет, — такой же рыжий, как и сын, — висит над кроватью, под портретом подушечка с орденом Красного Знамени, и все вокруг извещены о том, что отец у него геройски погиб на фронте. Тем

летом рассказала мама Вячику всю правду, и единственно о чем попросила, чтобы хорошо учился, чтобы был отличником, потому что боится мама, как бы чего не вышло при поступлении в институт. Сын не обязан отвечать за отца, но институт не обязан отвечать за сына. Вот и зубрит рыжий Вячик от корки до корки: наизусть выучишь — трудно придраться, — и когда вызывают его к доске, скороговоркой демонстрирует свою память, а весь класс следит по книге и подсказывает пропущенные слова. Но если случайно получит четверку, ребята злорадно вопят от восторга, а он, затравленно озираясь, краснеет под цвет волос, и даже уши оттопыренные краснеют. Рыжий Вячик — зубрила несчастный.

Будто на иголках, неумно вертится за партой Толик Степанов. Общественник, член комитета: весь в делах. Скоро будет вечер, посвященный тридцать первой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, и Толик его готовит. Толик ответственный за игры и аттракционы, за концерт и за танцы. Маленький, шустрый кубик с короткими ручками, шея шире головы, глазки мелкие, точечками — белков не видно, как у плюшевого медведя: все перемены вверх-вниз по лестницам скачет, общественные дела утрясает. Вот и теперь проглотил бублик — и бегом, через две ступеньки. Некогда Толику пережевывать, дел у Толика по горло. Надо согласовать перечень мероприятий, надо утвердить ответственных за вечер, надо проверить репертуар праздничного концерта, увязать, утрясти, урегулировать: уже не ребенок Толик Степанов, а крупный общественный деятель. Домой вернется поздно, еду заглотнет — и к телефону. Обзванивает, предупреждает, напоминает, грозит, — он и грозить научился, — изо рта слова канцелярские сыпятся: оргсектор, культсектор, физсектор, а папа с мамой, — тоже маленькие, тоже толстенные, глазки бусинками, — за столом рядом

сидят, на сына с уважением смотрят и, похоже, уже побаиваются. Они люди тихие, уравновешенные: врачи-рентгенологи. Привыкли в темноте находиться, внутренности человеческие не спеша разглядывать, и сын был у них тихий, задумчивый — прямая дорога в рентгенологи, но выбрали его в школьный комитет, и преобразился Толик, начал пугать своих родителей. Вот до чего доводит народное доверие неуравновешенные натуры! А придет вечер — ему не до танцев: будет бегать среди танцующих, викторины устраивать, пластинки менять, бдительно следить, чтобы фокстрот и танго не танцевали, а только вальс, падекатр и польку (а самые шустрые уже наострились и под вальс — танго, а под польку — фокстрот танцуют), а вдоль стен встанут учителя, особо выделенные, дежурные на этом вечере. Но сначала, до танцев, доклад, потом самодеятельность: украинский гопак, «Стихи о советском паспорте», хоровое исполнение песни «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полёт», — а уж потом танцы. Танцы и викторина: «У какого русского классика три произведения начинаются с буквы О?», «Какое произведение отражает воздействие статьи товарища Сталина «Головокружение от успехов» на строительство колхозов?», «Какое произведение Н. Гоголя оканчивается словами «Скучно жить на этом свете, господа»?»

Медленно и не спеша, уставившись грустными своими глазами в пятно на парте, жует бублик Карл Беркин. — «Карлоны бырл-бырл, а берлоны кырл-кырл», — не переставая, сморкается в застиранный носовой платок. Всегда грустит и всегда сморкается, а глаза такие печальные, будто мамины доходы подсчитывает. Вечно один, вечно в сторонке: меланхолик от рождения, от недостатка витаминов. Иной раз вызовут его к доске, а он стоит и молчит, ждет заслуженной двойки и разрешения сесть на место. Все думают, он не выучил, а ему просто говорить неохота.

Сядет на место, сморкнется в платок, загрустит еще сильнее. Папу у Карла убили на фронте, — мама у Карла работает приемщицей в обувной мастерской на улице Герцена, дедушка у Карла безработный раввин. Сколько их нужно, раввинов, на одну синагогу? Максимум один. А дедушка Карла — второй. Их, вторых, человек восемь. Поэтому дедушка работает надомником в артели, клеит коробочки для аптекарских товаров. Платят за эти коробочки — врагам не пожелаешь, клеить их надо тысячами, а всё ж деньги, какая-никакая помощь. Жить-то надо... Карл Беркин придет из школы, чего-то там пожует безо всякого интереса, а потом уроки делает, или коробочки клеит, а то включает радио, возьмет в руки карандаш, грустно и серьезно дирижирует симфонией, шмыгая носом, кланяется на аплодисменты. Переделает все дела — садится к окну. Очень он любит в окно смотреть, — ни на что, — а о чем думает при этом — неизвестно. «Карл, — скажет дедушка и взглянет на внука красными, слезящимися глазами, а в глазах — коробочки, коробочки, коробочки... — Почему бы тебе, Карл, не пойти на улицу, не подышать свежим воздухом?» — «Зачем? — резонно отвечает Карл. — Что тут, что там — воздух один».

А позади всех восседает в царственном одиночестве Леонард Вахмистров, он же Тит, он же Карп, он же Герасим и Ерофей. Придет утром и табличку вывешивает, как его сегодня величать, а на другое имя не откликается. Он и дома вывешивает, мстит родителям за свое диковинное имя. Сидит Леонард в одиночестве позади всех, царь царей, король королей, повелитель государства петиханского, рисует на всех уроках сцены из жизни своих подданных, раскладывает картинки по парте. Ест Леонард торопливо, небрежно: крошки на парту сыпятся. Он и рисует так же: стиль у него такой — небрежный. У них дома всё набросано, навалено, одежда на стульях висит,

посуда со стола не убирается. Кому надо работать, тот на край ее сдвинет, клеенку вытрет и работает. Раньше, до войны, приходили к ним гости, до глубокой ночи спорили, ссорились, с пеной у рта доказывали истины, обкуривали маленького Леонарда, пока у него не закрывались глаза и он не падал со стула. Не квартира была — клуб, а теперь это разве можно? Теперь один у нас клуб — при домоуправлении. И гости уже не приходят, — одни по своей воле, другие по чужой, — а если приходят, то не спорят больше и не доказывают истины, а пьют чай и едят торт. Время такое: всё ясно.

А справа от Леонарда, тоже на последней парте, горбятся два радиста Светлишин и Губарев: одинаково неуклюжие, одинаково костистые, большие мослатые руки в ожогах от паяльника. В своем умении дошли уже до того, что пальцем напряжение проверяют: сильнее ударит — двести двадцать, слабее — сто двадцать семь. Сидят, схемы рисуют, презирают весь класс, а иногда, вдруг, засмеются громко, деревянным смехом, и все вздрагивают и оглядываются назад, а смеются они по поводу им одним понятной ошибки в схеме приемника — этакий радиюмор. Сидят радисты по вечерам дома, как привязанные, сидят — паяют. Голая комната, покрашенная синей масляной краской. Яркая лампа на шнуре без абажура. Стол, заваленный радиохламом. Надвигается век электроники.

А перед радистами — Лёша Костиков, морячок с Дальнего Востока. Глаз у Лёши прищурен, чубчик набок, походка вразвалочку. На школьные вечера приходит надраенный, отутюженный, как на приморский бульвар, и танцует серьезно, будто работает. Если что не так, тянет руки к широкому ремню с пряжкой, расстегивает его для драки. Папа у Лёши — капитан дальнего плавания. Мама у Лёши — заграничные вещи надевает. Сам Лёша даже ананас ел. Два

раза. А ананас — это такая штука, не каждый и знает, на что она похожа. Какой уж там ананас — картошки, и той нехватает.

Жует восьмой «А», двигают скулами ребята, в старых, перелицованных пиджаках и брючках черных и серых тонов, в сатиновых шароварах с резинками, в курточках на молниях, вместо портфелей — с полевыми сумками: кожаными, брезентовыми, дерматиновыми; жуют другие классы, жует вся школа, и потому почти не бегают, не елозят пыльными штанами по крашеному паркету. Большая перемена — самая спокойная. Тихая перемена, задумчивая...

3

Война застала их на даче в Томилине. Ленивым воскресным утром Сергей Сергеевич Хоботков шел с Костиком на мелководную речку пускать бумажные кораблики, и около поселкового магазина они увидели толпу. На кривом, сучковатом, небрежно обтесанном столбе прибитый ржавым, наполовину скрученным гвоздем висел новенький, блестящий громкоговоритель, и люди, задрав головы вверх, слушали Молотова. Они тоже встали и прослушали всё обращение, непривычное по интонациям, непохожее на торжественные речи прошлых лет, и не смысл обращения, а именно интонации убедили в том, что пришла беда. «Папа, — напомнил Костик, — а кораблики?» Но Сергей Сергеевич уже не ответил. Заиграла бодрая музыка, мужики полезли в карманы за спасительным куревом. Во время налетов немцы бросали осветительные ракеты на парашютах, землю заливало мертвым, пугающим светом, и при полной видимости, методично и неторопливо они кидали бомбы на фабрику, сыпали зажигалки. Но уже вырыли в лесу тесные щели, наспех и неумело, укрыли сверху бревнами,

завалили землей, и по ночам хозяева и дачники сидели, скорчившись, друг против друга, упирались коленками в коленки. Чадила в углу керосиновая лампа, и однажды от близкого разрыва бомбы лампа перевернулась, потухла, облила Костика керосином. Жуткий мрак, едкий запах, крики, визги, толкотня у выхода, прикосновение к лицу холодной, сырой глины... В конце июля они вернулись с дачи в Москву, и теперь сидели по ночам в подвале дома, за толстенной, как у сейфа, дверью, прислушивались к посторонним звукам, испуганно вздрагивали от близких и дальних разрывов, а на углу улицы Воровского прямым попаданием уже завалило бомбоубежище, а на Никитской взрывной волной сбросило с постамента Тимирязева, а на Арбате с вечера выстраивались очереди у метро, и тысячи людей спали в туннелях прямо на рельсах, подложив под головы заветные чемоданчики, пока диктор не объявлял: «Опасность воздушного нападения миновала. Отбой!», и уже ходил из уст в уста любимый анекдот про мальчика, который больше всего на свете любит маму, папу и отбой.

Они уехали из дома шестнадцатого октября сорок первого года, в самый страшный для Москвы день, когда в городе была паника, на вокзалах творилось несусветное, и отчаянные толпы штурмом брали поезда. По пустынно-торопливым улицам они приехали на Курский вокзал, ночью погрузились в вагоны, как попало побросали вещи, лезли в темные купе по грудам перепутанных чемоданов, матери судорожно прижимали к себе детей, а по проходу с истошным воплем истерически металась обезумевшая женщина в безуспешных поисках потерявшегося ребенка. Потом поезд медленно, без толчка, отошел от перрона, и в навалившейся тишине прощания стала слышна далекая артиллерийская канонада до ужаса близкого фронта. Так они долго, невыносимо долго, ехали до самого Урала, сутками торчали на разъездах, а рядом стояли

эшелоны беженцев с Украины и Белоруссии: без вещей, без теплой одежды, сорванные с места внезапно и поспешно, ошеломленные и растерянные, будто разбуженные грубым толчком от сладкого сна. На остановках они разводили костер, варили пшеничный концентрат, но свистел паровоз, и недоваренная каша ехала до следующего разъезда: требовалось иногда несколько остановок, чтобы она сварилась, — один раз брат Лёка целый перегон вез на подножке закипающий самовар, потому что жалко было тушить и выливать воду. Они приехали в маленький городишко на Урале, где была одна школа, одна парикмахерская, одна баня и один кинотеатр в нетопленной церкви. Фильмы шли дольше обыкновенного, непрерывно рвалась ветхая пленка, и на детских сеансах ребята не выдерживали — время и холод в зале брали свое, — и в темноте по наклонному полу весело бежали к экрану подозрительные ручейки. Лёка с Костиком сразу пошли в школу, и зимой, в снежные заносы, когда сугробы не давали открыть калитку, брели в полном мраке, гуськом, след в след — несчастные, затерянные во вьюжном водовороте горожане, — и первый фонарь на их пути был у горсовета. Сначала можно было жить: был хлеб, было мясо и молоко, неизбалованные мануфактурой местные жители давали за перелицованные детские штанишки пару мешков картошки.

Потом эвакуированные проели лишние вещи, и с едой стало туго, по карточкам выдавали только хлеб: двести граммов на работающего и по сто пятьдесят граммов на иждивенца, и как-то раз в бесконечной очереди за хлебом, в сорокаградусный мороз, Костя отморозил ухо, оно раздулось, стало огромное, как у свиньи, и из него на подушку всю ночь капала вода. Ребята — вечно голодные — таскали с вокзала кормовую морковь, огромную и безвкусную, и тетки-охранницы сурово, для острастки, лязгали в ночи пустыми затворами; крали из горсоветовской конюшни, прямо

из-под носа у лошадей, жмых, сосали его, размачивали и глотали, а взрослые запаривали большие, толстые куски и делали из него лепешки.

Ранней весной, когда сходил с полей снег, Лёка с Костиком шли выкапывать из набухшей глины позабытую с осени, перезимовавшую в земле картошку: чистый крахмал, болтавшийся в кожуре, как в мешочке, и чуть не каждый вечер Костя ныл перед сном: «Исть хочу! Исть...», а брат Лёка бил его по затылку и свирепо орал: «Где мы тебе возьмем, чёрт? Ну, где?!» А потом в их городишко привезли блокадных из Ленинграда. Они тенью бродили по улицам, часами, в бессильной, сидячей очереди ждали открытия столовой, где кроме обычного для всех хлебного пайка им давали еще УДП, усиленное дополнительное питание, «умрешь днем позже»: суп из соленых помидоров, ложка водянистой каши, мочегонный чай с сахарином. После еды блокадные становились кучкой у окошка раздатчицы, пристально глядели внутрь, нюхали слабые, ненаваристые запахи — молча, терпеливо, без просьб и уговоров, пока раздатчица в слезливой истерике не захлопывала окошко, — а потом шли на рынок, жадно рассматривали выставленное там великолепие: лепешки из жмыха, лепешки из травы с отрубями, лепешки из картофельных очисток, черные, комковатые лепешки неизвестно из чего. Вот в это самое время и забрали в армию брата Лёку, и отправили в артиллерийское училище: семнадцати лет, из десятого класса — немцы стояли под Сталинградом.

Когда они вернулись домой, в свою квартиру, на родной бульвар, Лёка был уже на фронте и прислал фото: тонкая, беззащитная шея в широком вороте гимнастерки, худое, решительное лицо обиженного подростка. Мама часто плакала по темным углам и ежедневно писала ему письма, и в конце каждого была обязательная приписка от няни: скоро ли Лёка вернется с войны, скоро ли купит обещанную ей избушку.

Лёка отвечал редко и коротко: «Жив, здоров, избушка за мной». Некогда было Лёке письма расписывать: воевал Лёка с фашистами. Сергей Сергеевич, отец Костика, отвоевался в конце сорок четвертого. Всю войну сапером прошел, в госпиталях всласть навалился. Три форсированные реки — три ранения — два ордена. Приехал — бегом бежал с Белорусского вокзала, ворвался в комнату, когда все еще спали, и не раздеваясь, с вещмешком за плечами, начал бегать, задыхаясь, вокруг стола, а они глядели на него и плакали: мама на диване, няня на раскладушке, а Костя в своей старой кровати, из которой торчали наружу его ноги. Отвоевался Сергей Сергеевич, пошел работать, с трудом начал вращаться в неторопливую мирную жизнь. Пришел из армии дядя Паша, Нинкин отец. Всю войну крутился где-то под Москвой, в спецчастях: появлялся в квартире, исчезал, опять появлялся. Две звездочки — лейтенант. Свой «Виллис», с шофером. Раз приехал — мешок с горохом забросил. Другой раз — трофейный ковер. Потом — аккордеон. Вернулись из деревни тетя Шура с Нинкой, а ковер моль прогрызла, а аккордеон у батареи разохся, а мешок с горохом обмяк, одна шелуха в нем. Горох мыши съели, все горошинки, до одной, выбрали. Бестолковый дядя Паша; при добре был, а добром не попользовался. Воевал Экштат Семен Михайлович. Сбрили ему шевелюру, одели стираную форму, ботинки с обмотками. Когда прощаться пришел, вся квартира охнула, все женщины в голос заревели: тоненькие ноги в неумелых обмотках, сутулая спина под белесой гимнастеркой, из-под низкого воротника кадык выпирает, на маленькой обритой голове пилотка по уши. Был поэт, композитор, ребе, а теперь не красноармеец, не боец — солдатик. Всю войну с полевым госпиталем прошел, лекарства для раненых готовил. Лопаткин Николай Васильевич тоже воевал. Начал с ополчения, со взвода интеллигентов-банковских работников. Их собрали, построили —

только солнце в пенсне засверкало. «Шагом марш!» — они и пошли. «Запевай!» — они и запели. «Мадам, у-же па-да-ют лис-тья... Раз-два!» Оружия ни у кого не было. Даже у командира полка ополчения висела на ремне пустая кобура, а в руке железный прут. «Что же мы, — говорил командир, размахивая прутом, — не достанем оружия у немцев? В первом же бою достанем!» В первом же бою на них пошли гудериановские танки, и чуть не весь полк poleg на месте. И дядя Пуд воевал. На складе, на своем боевом посту. В первые же налеты разбомбил германец дядю Пуда, разбомбил вместе со складом. Загорелась крыша, жарким, дымным пламенем полыхнула толь. Волоком тащил ящики с гвоздями, с дверными петлями, большой живот мешался в тесных проходах. Надорвался дядя Пуд, неделю покряхтел на лежанке и помер. Отпевали его в церкви, поставили над могилой крест из водопроводных труб, с узорами из проволоки и написали на табличке «Ерофей Косьмич Стёпин. 1872 — 1941». Ерофей Косьмич — это и есть дядя Пуд. Умер он — тетя Мотя одна осталась. Занавесила окно черной бумагой, еще икон понаставила: келья, как есть келья, и духа мужского нету. В налеты не спускалась в бомбоубежище, а становилась на колени и Богу молилась — бомбы от дома отводила. «Это Бог вас спас, — говорила с важностью. — Услыхал мои молитвы». Вся квартира воевала, весь дом, своей молодостью, своими морщинами, голодом и холодом своим, горем и печальями. В шестой квартире — Герой Советского Союза. В третьей — слепой. В четвертой — без рук, без ног: инвалид беспомощный. В первой, в пятой, в восьмой — похоронные, похоронные, похоронные... Кто погиб, кто пропал без вести. У них — Ренат Ямалутдинов. Ушел Ренат на войну в первый день. Последний раз дотронулся до Самарьи, — он засветился, она засветилась, — и ушел. И исчез. Ни письма, ни известия. Пропал человек, будто его никогда и не было.

Будто не жил на свете казанский татарин Ренат Яма-лутдинов, не работал днем, не учился вечером, не любил ночью жену свою Самарью. Осталась после него вдова — шемаханская царица. А потом пришел день Победы. Радостный, счастливый, с оглушительным салютом. Многие плакали в этот день: по погибшим, по искалеченным, по самим себе. И Вера Гавриловна тоже плакала, целый день, потому что от Лёки давно не было известий. И прошла неделя мирной жизни, и прошел месяц, а известий всё не было, и война не уходила из их квартиры, и день Победы для них не наступал. И пришла, наконец, по почте скромная, стандартная бумага, где черным по белому было написано, что сын их Лёка, добывая ненавистных фашистов, сложил голову в проклятой Германии, похоронен в братской могиле, и вечная ему за то память. Погиб Лёка, погиб человек, который еще в детские годы знал такое число, до которого сто лет считать надо. Ты не досчитаешь — дети досчитают. Дети не досчитают — внукам останется. Погиб Лёка — и счет на этом оборвался. Погиб Лёка — и война кончилась.

4

Третий урок — немецкий.

Точно по звонку появляется Ольга Матвеевна, пышная, черноволосая, с кудряшками от перманента. Бровки черненькие, щечки аленькие, формы-мячики во все стороны. Год как из института, месяц как замужем: цветет женщина от полноты жизни.

— Ну, хулиганы, чего натворили?

— Ничего... — радостно галдят хулиганы. — Ничего мы не сделали...

— А с чего это он после вас валерианку пил?

Колька ноги свои подальше вытянул, зубом поцыкал и ласково так, двусмысленно говорит:

— Мы после вас тоже пьем...

Ольга Матвеевна вспыхнула, как маков цвет, и за журнал:

— Пойдет к доске...

Будет сейчас спрашивать, задавать хитрые вопросы, строгие отметки ставить. Достанет ручку-вставочку, обмакнет в чернильницу на первой парте, с удовольствием выведет в журнале аккуратную цифру круглым, детским почерком. Ольга Матвеевна с первого класса и до последнего курса была отличница, активистка, примерная ученица, удовлетворенная своим поведением и своими знаниями: гордость мамы, папы и общественных организаций. Она и в жизни такая же примерная и удовлетворенная, а жизнь ее за это награждает. Ребята ее любят, учителя уважают, муж у нее герой.

— Пойдет к доске Борисенко Николай.

Колька привстал, ойкнул, утробно взвыл и пополз, оседая, под парту. Завалился, ноги в проходе разбросал, руками за стол цепляется, вост потихоньку, на одной ноте. Эпилепсия. Внезапный приступ. Бьется Колька головой о перекладину, пена изо рта идет. Немножко, правда, но идет.

— Ой, да что же это... — бледнеет Ольга Матвеевна, и к доске отодвигается, а Колька, детина здоровенный, всё место под столом занял, глаза закатил, снизу вверх нескромно на учительницу поглядывает, судорожно хватает ее за полные ноги. Он больной. Ему всё можно.

Прибегает врачиха, сует под нос ватку с нашатырем, надрываясь, выволакивает Кольку из-под стола, тащит к себе в кабинет. Теперь он до конца урока не придет, а может, и до конца занятий. Это уж как чувствовать себя будет. Обычно он плохо себя чувствует, обычно после приступа домой уходит. Дня на два, а то и на три.

Ольга Матвеевна больше никого не спрашивает,

не решается, а объясняет следующую тему. Упруго ходит по классу, каблучками постукивает, молодое тело свое ощущает. Глаза повеселели, кудряшками трясет, немецкие слова орешками изо рта выскакивают. И ребята тоже повеселели. Действует на них ее молодость, привлекательность, полнота жизни. И только Костю что-то держит, не дает раскрыться. Может, внешнее сходство: деловитые каблучки, перманент, привлекательность той, давнишней пионервожатой, которая пришла к ним однажды в класс и велела всем стать тимуровцами. Костя не помнит теперь, кому что поручили, но лично он колол дрова семье погибшего воина. «Ты понимаешь всю важность поставленной перед тобой задачи?» — и вожатая посмотрела ему прямо в глаза. «Понимаю», — похолодев, ответил он. «Всю важность?» — «Всю важность». Он колол дрова целую неделю. Каждый день после уроков. Он приходил к семье погибшего воина, ему выдавали топор, и он колол. Очень трудно было заставить топор войти в дерево. А когда он туда входил, еще труднее было вытащить его. Но Костя не сдавался. Он понимал всю важность поставленной перед ним задачи. И вдруг, оказалось, что никакой важности нет. Его вызвали в учительскую и спросили, чем он занимается после уроков. Других тимуровцев тоже вызвали и тоже спросили. Костя не помнит теперь, что было у других, но лично он колол дрова не для семьи погибшего воина, а для матери их вожатой. Ей бы сказать ему откровенно, ей бы попросить по-хорошему, он бы и для матери наколол. И нечего было смотреть прямо в глаза. И нечего было пугать поставленными задачами. Существует два способа разрушить Карфаген: один — сразу, другой — по кусочкам. Результат один и тот же.

Тут Лёша Костиков вдруг просиял и говорит на весь класс:

— Сказочку...

— Сказочку... — шумят ребята. — Сказочку...
Расскажите сказочку!

Ольга Матвеевна улыбается. Довольна Ольга Матвеевна. Когда заскучает класс, когда затоскует и начнет отвлекаться, рассказывает она сказочку, веселит ребят, а потом обратно к немецкому возвращается, к тоскливой грамматике, которую жуют уже не первый год: «Ганс идет в школу», «Идет ли Ганс в школу?», «Ганс в школу не идет».

— Сказочку! — ноет класс. — Сказочку!..

Сдвинулись парты и поползли. Ползет староста класса рыжий Вячик, толкает своей партией учительский стол. Ползет Лёша Костиқов, морячок, отсекает немку от двери. Ползет член комитета комсомола Толик Степанов. Ползут радисты, Леонард Вахмистров, ползет Рэм Сорокин, хихикая и потирая потные руки, а Вовка Тимофеев от нетерпения выполз со своей партией в проход и ползет боком, быстрее всех, а рядом с ним на той же парте не ползет, но едет Карл Беркин, являя учителю свой печальный иудейский профиль.

— Сказочку! — стонет класс. — Сказочку!..

Ольга Матвеевна раскраснелась. Ольгу Матвеевну к доске прижимают.

— Тихо! — просит она и палец к губам прикладывает. — После сказки сразу обратно.

— Тихо! — грозно повторяет Витька Борисенко. — После сказки — обратно.

— В некотором царстве, в некотором государстве, за семью горами, за семью долами жил-был царь и была у него...

— Дочка... — подсказывает рыжий Вячик.

— Правильно. И была у него дочка. Однажды зовет ее царь к себе...

Открывается дверь, на пороге завуч Елена Васильевна. За ней — Колька Борисенко. Лежал у врача

в кабинете, закурил сдуру папироску — она его по запаху и застучала.

— Что такое? — говорит Елена Васильевна своим металлическим голосом, от которого плачут перво-клашки. — Что здесь происходит?

Молчит Ольга Матвеевна, прижатая партами, молчат ребята.

— Ольга Матвеевна, голубушка, что они с вами делают?

— Ничего... — шепчет Ольга Матвеевна, а у самой лицо пятнами пошло. — Пропустите меня.

Парта отъехала, она — в дверь.

— Так! — говорит завуч. — Ну, погодите, хулиганы... Я вам покажу, как над учителем издеваться. После уроков останется весь класс!

— И я? — невинно спрашивает Колька.

— И ты.

Елена Васильевна хлопает дверью, и ребята тихо-тихо ползут обратно.

— Ну, — говорит Колька, — сознавайтесь, хулиганы... Чего с немкой хотели делать?

Молчат хулиганы, отворачиваются. Опять Колька, скотина везучая, выкрутился. Опять его вина в тысячи раз меньше их вины. На его довольную рожу взглянешь и вдвойне тошно становится.

— Из-за таких, как вы, — ухмыляется Колька, — страдают невинные.

И важно садится за учительский стол.

Витька вскочил, бледный, злой, губу закусил — и на брата. Тот руки вперед выставил — защищается.

— Ну, чего... Чего ты?

На Витьку раз посмотришь и уже видно: может ударить. На Костю сколько ни смотри, сколько его ни разглядывай, нет в нем этого свойства, — нет и, наверно, не будет, — а в Витьке оно есть. Это чувствуется сразу, с первого взгляда, будто знак какой на лице, и с Витькой не связываются. Потому что Витька

может ударить. В любую минуту. И справиться с ним нет никакой возможности. В футбол Витька играет только в нападении — характер такой, — а Костя предпочитает стоять в воротах. Это у него неплохо получается, а то, что получается, он любит больше того, что не получается. Но нет в нем спортивной злости, а в Витьке она есть, в нем этой злости на троих хватит, и игра для него — это не игра, а способ доказать свое преимущество с большим счетом.

— Ты!.. — ярится Витька, и ближе к брату подступает, кулаки готовит. — Чего придуриваешься?

А с Кольки — как с гуся вода. Колька — взрослый человек, он по закону жениться может, и отчитываться не обязан. Ему эта учеба — постольку-поскольку, лишь бы не работать. Есть у Кольки заветная мечта: пойти в «топтуну». Бродит возле их дома «топтун», сытый, прилично обмундированный, весь день на свежем воздухе. На машине его привозят, на машине отвозят. Встанет машина в сторонке — в ней «топтун» навалом, — он из нее незаметно выйдет и по своему тротуару прогуливается. А на той стороне улицы его близнец ходит: не догадаются там, где надо, их одежду разнообразить. А может, и не нужно разнообразить, может, делается это специально. Отгулял свои часы, сменился — иди домой, отдыхай. А дел-то всего: следить за участком, чтобы беспорядков не было, чтобы чего не случилось на бульваре. Бульвар — правительственная трасса. Иной раз, — редко-редко, — машины гуськом идут: на Арбат, а оттуда в Дорогомилово, на дачи. Кого везут — неизвестно, а охранять надо. И потому на правительственной трассе все чердаки опечатаны — белье сушить негде, все проходные дворы перекрыты — обходить кругом приходится, чтобы не спрятался кто, не совершил диверсию, не убежал от погони. Этот «топтун» стоит у их подъезда не первый месяц. Колька мимо идет — всегда здоровается, а тот отворачивается и глаза прячет.

Если бы Колька знал, где учат на «топтунов», давно бы туда пошел. Спрашивал у того, а он не отвечает — стесняется.

Братья отношения выясняют, а ребята в сторону отошли. Знают хорошо, что Колька брата не тронет, а пойдет на других злобу срывать. Саша Антошкин по этой причине давно уже на другом этаже гуляет. Один Карл Беркин стоит рядом, задумался, смотрит — не видит, носом хлюпает.

— Иди, — советует Витька. — Проваливай.

Карл высморкался и пошел. Тут набегает на него Вовка Тимофеев, недоросток-переросток, взбрыкивает полной, упитанной попой, заваливает на пол. На Вовку кидается Костиков, Сорокин, кто попал... Куча мала. Сверху снисходительно и небрежно укладывается Колька Борисенко, давит мелюзгу могучим телом, а внизу лежит грустный Карл Беркин, шмыгает носом, ждет, когда с него слезут, а пока, чтобы не терять времени, думает-размышляет о чем-то своем. Кругом бегают, дерутся, толкаются, стреляют из рогаток-резиночек проволочными пульками, плюются жеваной бумагой через ручки-вставочки: ад крошечный. Школа, вообще-то, принадлежит учителям, но по переменам ею владеют ученики. Учителя пробираются, проскакивают, прошмыгивают вдоль стенок в учительскую, где можно отсидеться, куда приглушенно доносится шум и рев толпы, и иногда распахивается дверь, заглядывает ухмыляющаяся, невинно-нахальная рожа, и сердце тоскливо сжимается в предчувствии очередной пакости изобретательных негодяев.

Сидит на своей парте Леонард Вахмистров, даже в коридор не выходит. Спешит, торопится, не успевает закончить до начала урока очередной эпизод из истории петиханского государства. Из всех уроков только историю с удовольствием слушает, выискивает интересные подробности из жизни народов. Встрепенется, вдруг, обрадуется: «Это я у вас забираю», — и за-

бирает, и отдает своим петиханским царям и полководцам. Забирает только самое лучшее, самое умное и правильное, и оттого государство у него образцовое, не в пример другим. Ведь как это оказалось просто: возьми хорошее, отбрось плохое, а никто, кроме Леонарда, не догадался сделать. Он первый.

— Бумагу! — кричит Леонард. — Полцарства за бумагу!

Бродит вокруг Рэм Сорокин, студень, желе, отвратный тип.

— Леонард, — просит Рэм, — а Леонард! Нарисуй женщину.

Леонард молча тычет в табличку. На табличке написано «Тит».

— Тит, — умоляет Рэм, — а Тит! Ну, нарисуй женщину...

Одним движением карандаша Леонард рисует женский силуэт и небрежно откидывает листок.

— На, — царственно произносит он. — Уходи.

Рэм уходит, умирая от зависти. Ему бы эти таланты, уж он бы нарисовал кое-чего. Школа мужская, обучение раздельное, отношения между полами сложные, запутанные и малопонятные. Два мира, которые живут и развиваются отдельно друг от друга, и официально сталкиваются только на вечерах под присмотром бдительных педагогов, а неофициально — где попало, безо всякого присмотра.

Подошел Витька Борисенко, тронул Костю за плечо. За Витькой Колька стоит, ухмыляется.

— Значит так, — говорит Витька. — Если Колька чего еще сделает, собираем всех, и мы его два раза по морде. Понял? Каждый по два раза.

— Понял.

Костя даже не возражает. Витька сказал — так оно и будет. А как оно будет, как он Кольке по морде даст — неизвестно. Неопределенность полная...

Давно уже окончилась война, и живые вернулись к жизни, и утешились, как смогли, и наверстали упущенное, как сумели, а мертвые так и остались лежать на необозримых погостах мира, и среди них — брат Лёка, убитый напоследок, в самом конце войны, словно где-то не сходилась баланс и кому-то еще недоставало жертв для круглого счета. Лежит Лёка в братской могиле посреди проклятой Германии, упокоился навечно, а Вера Гавриловна с той поры места себе не находит. Иглой в мозгу мучает ее навязчивая мысль, что небрежно уложили сына равнодушные люди, тесно ему там и неудобно, занемели руки-ноги, мурашки бегают по скрюченному телу. Умом всё понимает Вера Гавриловна, гонит от себя бредовые мысли, а проснется ночью: давят в бока диванные пружины, подушка под ухом — холодным камнем, одеяло навалилось на грудь земляной глыбой. В беспокойстве вертится до утра, ищет удобное положение для измученного тела, а найти не может. Нет для нее на белом свете удобного положения. Случилась этим летом оказия, могла съездить с начальником в командировку в Германию, к Лёке на могилу, да не хватило духу. Тихая, нежная, деликатная — побоялась: увидит первого немца — своими руками удушит. Он, может, и не виноват, первый-то немец, а она виновата? В муках рожала двух сыновей, чтобы было им на кого опереться в будущем — другу на друга, брату на брата. Остался теперь один ребенок, и не родишь уже второго: были годы, да все вышли. Нервная Вера Гавриловна, беспокойная до мнительности: боится выпустить из дома мужа, боится выпустить сына. Утихает только к ночи, когда все спать лягут, и она комнату запрет, отгородится дверью от прочего мира. А за дверью — холодная война, обострение международной напряженности, горы новейшего оружия,

заготовленного впрок на последнего ее ребенка. Купили Хоботковы новый приемник «Рекорд», а по нему только и передают, что враги чего-то там замышляют, всевозможные идеологические диверсии, растленное влияние капиталистического окружения, а что сами враги на этот счет говорят — неизвестно: наши заглушки стоят намертво, в приемнике вой на всех диапазонах. Волнуется Вера Гавриловна, как бы опять заваруха не началась, — слишком уж многое начиналось в их поколении, с избытком хватило бы на пару бурных веков, — волнуется за мужа, волнуется за сына. Когда Сергей Сергеевич прорывается через заглушки, пальцы ломает в отчаянии. Соседи у них, конечно, хорошие, — золото положи — не возьмут, — но лучше не слушать того, что слушать не полагается. Береженого и Бог бережет — старая, веками испытанная пословица. Но почему-то не каждого береженого в это время берег Бог: может, потому, что слишком многих Ему надо было беречь, а может, потому, что Его, Бога, предусмотрительно заранее отменили.

Так издергалась, так изнервничалась: одно спасение — глушить себя непосильной работой. Она и глушит. Паркет блестит от суконки, зеркало в шкафу без единого пятнышка, тюль на окнах чистый, штопаный, колом от крахмала. Никаких жалоб, никогда ничего не болит, а если заболит — всё равно не скажет. «Надо сделать!» — «Сделаю». — «Надо напечатать!» — «Напечатаю». — «Надо сходить!» — «Схожу». А опоздаешь утром — начальник сидит на твоём месте, ждёт. Как прогонишь? Надо просить: «Разрешите, я сяду». — «Ах, — говорит, — простите! Ах, извините! Рассеянность моя проклятая...» Вера Гавриловна не опаздывает. Она утром всё бросает и на службу бежит. Дома без нее няня хозяйничает. Обед готовит, комнату прибирает, носки вяжет, ломаным мизинцем слезу утирает. Щеки опали, голубые глаза потускнели,

круглое лицо морщинами пошло, темное лицо, как земля. Пропал у няни сын Николка, пропал без вести на Смоленском направлении. Ни живой, ни убитый. Ни порадуешься, ни поплачешь. По праздникам, когда идет няня в церковь, записывает Костя на бумаге в линейку два листка имен: один во здравие, другой за упокой. Долго думает няня, долго вспоминает всякий раз, чтобы не позабыть кого, чтобы помянули в церкви ближних и дальних родственников. Кто живой — во здравие, кто помер — за упокой. Сына Николку в оба списка пишет. Хоть и не полагается это по церковным порядкам, да у матери свои правила. Может, в плену, может, еще объявится.

Выходит няня на бульвар, беседует с довоенными подружками: мало осталось подружек, повымирили чуть ли не все. По праздникам ездит в гости к племяннице, которую сватала когда-то за полотера, сватала, да так и не просватала. Колебалась племянница до самой войны, всё не могла решиться, а потом взяли полотера в армию, в сорок первом попал он в окружение, в сорок пятом воротился из плена, разочек всего натер у них в квартире пол и сел в тюрьму. Оказался этот полотер, тихий человек, английским шпионом. Не зря, видать, ходил по квартирам, не зря высматривал, вынюхивал, выглядывал, собирал секретные сведения при натирке полов. Вот когда обрадовалась няня, что пронесло беду мимо племянницы, а та, дуреха длинная, как узнала про арест, так в голос и заревела. Имела она, видать, свою думу на этот счет. Так всегда и бывает: одного арестуют — двое плачут. Живет племянница всё там же, вместе с хозяйкой, двумя зарплатами мальчика на ноги поднимают, а мальчик уже бреется по два раза на день, учится мальчик в институте, зовет обеих мамой, а отец, как бросил, ни разу не появлялся, и жив он или умер — неизвестно. Приносит няня с собой ветхий листочек — последнее письмо от любимчика Лёки, читают ей, не-

грамотной, вслух, по многу раз: «Жив, здоров, избушка за мной». Исходит няня тихим плачем, ломаным мизинцем слезу утирает: некому ей теперь купить обещанную избушку. Совсем некому.

Сергей Сергеевич Хоботков, отец Кости, работает в проектном бюро, ходит на службу в бывшую церковь. Говорят, что знаменита эта церковь, — то ли Пушкина венчали, то ли Гоголя отпевали, — но точно сотрудники не знают. Можно, конечно, проверить по книгам. В книгах всё есть, только найти трудно, и потому никто не ищет. Надобности нету. Давно уж всё перестроили, приспособили под свои земные нужды. Кабинет начальника в алтаре, перед алтарем секретарша с машинкой, в большом зале между колоннами проектировщики, в приделе — копировщицы, стены оштукатурены, следов церковных не видно, и только наверху, под куполом, где архив, из-под набитых кронштейнов выглядывают скорбные лики, за пухлые папки с технической документацией уходят наивные апостолы, и чье-то сияние упирается в дощатый потолок. Сергей Сергеевич сидит в общем зале, командует группой инженеров. За день возникает столько вопросов, столько раз его дергают, что приходит домой и остановиться не может. Даже за столом с одной еды на другую перескакивает: сначала хлебнет компоту, потом съест котлету, капусту с бульоном, а уж потом жареную картошку. Быстро, в момент: его за столом не обгонишь. Говорят, вредно это, а ему еще вреднее — медленно. Он и работает быстро, точно, раздражается, когда переспрашивают, за день успевает вдвое больше других, и портрет его висит на доске почета, у входа в алтарь. «Передовик ваш папа. Передовик на старости лет». Везде строят, восстанавливают: работа интересная, захлеб. Человек делает дело. Человек доволен. «Мне двадцать шесть лет, — говорит. — Мне всё еще двадцать шесть». С работы придет, поест — и на бульвар. Лёка погиб, Костя вырос —

кувыркаться не с кем. Ходит по бульвару быстро, стремительно, маятником мотается взад-вперед, до изнеможения, до усталого отупения, чтобы под одеяло нырнуть, как в прорубь. А голова у Сергея Сергеевича — белая, а спина — сутулая, а морщины по лицу — ходами сообщения, а раны — ноют без передышки. Вспомнит про Лёку — они и заноят.

Семен Михайлович Экштат тоже по бульвару гуляет. От памятника Тимирязеву до памятника Пушкину. Руки за спину, голова набок, седая шевелюра дыбом. Всегда один: ни к кому не подходит, ни с кем не заговаривает, только глаза прикрывает в знак приветствия. Придет вечером с работы, сядет у окна и коллекцию на подоконнике перебирает, мурлычет себе под нос: «Мы догнали наши годы на широком мосте, на широком мосте. Юны годы, возвратитесь к нам обратно в гости. Юны годы, возвратитесь к нам обратно в гости». Собирает Семен Михайлович экспонаты, характеризующие его, Семена Михайловича, прожитую жизнь. Две военные медали. Осколок бомбы, разорвавшейся рядом. Фото с госпитальными врачами. Фото с выздоравливающими. Белый порошок в пузырьчке: последнее лекарство, приготовленное перед возвращением в мирную жизнь. Когда пополняется коллекция, очень он радуется, потирает от удовольствия руки: «Пурим бывает не каждый день!» Пурим — это праздник, а в иудейской религии праздники бывают редко, и чаще всего не по поводу какой-то самостоятельной радости, а по причине избавления от очередной беды. А днем сидит он всё в той же аптеке на Никитской, в том же окошечке, и рецепты иронически разглядывает. Если заболит что у Семена Михайловича, тут же идет на прием к врачу, а потом кривит рот в улыбке, рвет рецепты на мелкие клочочки, и настроение у него преотличное. Чем хуже врач, тем лучше у него настроение. Был Шапошников — уважал Шапошникова. За осанку, за солидность, за мудрую нето-

ропливость. Умер в войну Шапошников — уважать некого. Приходит по вызову участковый врач — женщина, в руке тяжеленная сумка, а в сумке — бутылка молока, лук, гречка, два батона, фонендоскоп, пачка бюллетеней. У нее на день по двадцать вызовов, да прием в поликлинике, да писанины — руки отваливаются, да собрание, да кружок по изучению биографии товарища Сталина, да муж, да дети, да обед сготовить, да в очереди отстоять, да постирать, да убрать, да помыть, да не железная же она на самом деле... «Очень милый человек, но, к сожалению, это еще не профессия».

Софья Ароновна по бульвару не гуляет. Софья Ароновна от поликлиники устает. Полно пациентов, очередь, как в бакалее: за военные годы зубы у многих попортились, и некоторые даже деньги суют. До войны не совали, а теперь суют. Денег, видно, больше стало, или понятия переменились.

Бабушка Циля Абрамовна около окна сидит, на улицу не спускается: совсем плоха бабушка. На восьмом десятке перенесла войну, эвакуацию, арест сына Гриши. Пропал сын Гриша — ни приветов, ни ответов, — и семья его пропала. Жена Гриши с детьми-двойняшками поехала в отпуск, к родным под Житомир. Шестнадцатого июня из Ленинграда выехали. Так все втроем и исчезли. Только телеграмма осталась, стандартный бланк: «Доехали благополучно. Целую, Мила». После войны Софья Ароновна ездила туда, выспрашивала, по домам ходила: никто женщины с двойняшками не помнит. Всех, говорят, евреев немцы вывезли, и с двойняшками, и не с двойняшками. Тем и кончилось: отца тут извели, детей там. Сидит бабушка Циля Абрамовна весь день у окна, на улицу смотрит, дальше стекол не видит. Слеза в глазу постоянная, не от болезни слеза — от жизни. Капают бабушке полезные капли, а пользы нету: ни молитвенник почитать, ни Манечку разглядеть.

Выросла Манечка, стала совсем взрослая. Учится в консерватории, на втором курсе. Как говорит профессор, таланта нет, но одаренность явная и работоспособность фантастическая. Скромное платье, черная коса, прямой взгляд — скромная Манечка и целомудренная. Приходит к ней кавалер — серьезный мальчик, студент, будущий инженер.

Станный какой-то кавалер, вся квартира ему удивляется. Придет в гости, сядет в углу, а Манечка на скрипке играет. После обеда наденет фартук, идет на кухню посуду в тазу мыть, а Манечка опять играет. А то вдруг наступит тишина подозрительная, в комнату войти неудобно. Чем это они занимаются? А они ничем не занимаются. Они книжки читают. Под вечер выйдут на бульвар и прогуливаются, и разговоры серьезные, и расстояние между ними — будто незнакомые.

Дядя Паша и тетя Шура, Нинкины родители, после войны пошли на повышение. Тетя Шура — на родной фабрике председатель фабкома. Дядя Паша — директор клуба. Тетя Шура в бостоновом синем костюме — ватные плечи, как эполеты, — туфли на широком каблуке, часы циферблатом вниз: деловая женщина, бабий атаман. Раньше была бригада — десять баб, теперь фабрика — четыреста. Все к ней, все по личному и общественному делу. И на свадьбе у них гуляет, и на поминках плачет, и с трибуны может, и резолюцию. Всего попробовала. От этих заседаний-совещаний появилась у тети Шуры интеллигентная бледность, да новый бостоновый костюм залоснился сзади: хоть перелицовывай через год. Горит тетя Шура, разрывается на части, всю свою неумную энергию отдает общему делу, и коллектив — четыреста баб — очень ее поддерживает. Редкое единодушие женщин относительно женщин.

Расцвела тетя Шура за эти годы, стала видная, вальяжная, интеллигентная издали, — в президиуме

сидит, все оглядывают, — и увиваются вокруг нее ответственные общественные работники, руку по-мужски жмут, комплименты высказывают, в глаза вопрошающе заглядывают. Но тетя Шура как была непреклонна, так непреклонной и осталась. Придет домой, картошки нажарит, киселя наварит, разденется догола, привалится, прижмет дядю Пашу к стенке: та самая тетя Шура, что до первого льда в речку лазила, после бани в снег ложилась — силу свою укрощала. Только выросла Нинка, всё стала понимать, ко всему приглядываться, и опасаются они ее больше, да и дядя Паша, хилый мужичишка, вечно увивает от своих мужских обязанностей по причине хронического ослабления организма. Раньше просто увивал, теперь с оправданием: работа умственная, ответственная, на износ. Утром встанет, картошки навернет, киселя нахлебается, портфель в руки — и на работу. Ходит дядя Паша по вверенному ему клубу — на плечах френч, галифе с хромовыми сапожками — и уборщицами командует, кассиром, киномехаником, планы кружков утверждает: хорового, баяно-аккордеонного, танцевального, драматического. На репетициях любит присутствовать, особенно в танцколлективе. Девки молодые, горячие: закружатся — всё видать.

Теперь дядя Паша ответственный по квартире. Вывешивает счета за электричество и за газ, красным карандашом вычеркивает тех, кто заплатил, строго предупреждает опоздавших. По вечерам ходит в домоуправление, где всё тот же стол под кумачом, всегда готовый для заседаний, и стенгазета в стихах с орфографическими ошибками. Сидит дядя Паша за красным кумачом, курит папиросу в резном мундштуке, прикидывает в уме, как бы уязвить председателя домового комитета. Мечтает ныне дядя Паша, тщеславный мужичишка, самому стать председателем, сидеть во главе стола, а не в общем ряду с простыми общественниками. Одного боится: как бы не опозорила Нинка

своих ответственных родителей, как бы не припаяли ей моральное разложение, тлетворное влияние, политическое недомыслие. Уже в седьмом классе свистели под окнами и стучали по водосточной трубе — весь дом знал, что пришли мальчишки, вызывают Нинку на улицу. А в девятом даже мать руки опустила. Одни отсвистятся, другие приходят. Эти отстучат свое, а там уже следующие на очереди. Отец выпороть хотел, да разве ее теперь выпорешь? Она сама кого хошь выпорет. Нинка из черноземного района, горячих кровей. Ей бы в табунчике с гармонистом, а не «а + в = с». Что ей эта алгебра? Сухость одна. Недаром кличка ей по школе — «Исключение»: «Уж, замуж, невтерпёж». Нинку во всех окрестных школах знают, отплясывает Нинка на вечерах все танцы подряд. Где танцы, там и она. Кто не танцует, тот не человек. «Ноль внимания, фунт презрения». Доставляет Нинка своим родителям сплошные беспокойства, каждый месяц в положенные сроки с тревогой ожидает тетя Шура результатов — будет или не будет, — а Нинка только хитро улыбается, да отплясывает на вечерах, да увиливает от ловких рук, от заманчивых предложений, от неожиданных, врасплох, нападений. У Нинки в руках сила матери. Нинка, ежели подопрет, с тремя мужиками справится, и уже однажды заявила под утро в разорванном до пупа платье. Очень беспокоится тетя Шура, кричит-выговаривает ежедневно, но когда подходит их очередь убирать квартиру, дружно разуются, подоткнут подола — у обеих ноги крепкие, пятки красные, — и в четыре руки мигом всё вымоют и вычистят.

А кто не хочет сам квартиру убирать, за того тетя Мотя старается. Была тетя Мотя уборщица, теперь повысили — стала лаборантом, получает денег побольше. А ей много не надо, она их всё одно в церковь относит. Свечи ставит, в кружку кидает, нищих на паперти оделяет. Нет, говорят, у нас нищих,

перевелись в связи с общим прогрессом жизни, даже «Крокодил» перестал над ними смеяться — глупо смеяться над тем, чего нету, — а для тети Моти кто руку протянул, тот и нищий. Ты протяни — она и тебе подаст. А сама ходит вечерами на Палашовский рынок, подбирает непроданные остатки: картошку, которую покупатели с весов скинули, вялую морковку, забытый пучок лука. Что у кого в квартире пригорит, прокиснет, просто останется, ей на стол ставят. «Кладите, — говорит. — Всё кладите. Люблю горелое, люблю и пересоленное». Живет тетя Мотя в пустой почти комнате. Лежанка, стол да две табуретки. Всю мебель дяди Пуда в войну истопила. Хорошая была мебель, сухая. Зато иконы блестят-переливаются в лампадном свете, свои иконы и дарёные. Блаженная тетя Мотя, кликуша. У нее явления всякие, весь приход наслышан — умиляется. То, вроде, затемнится где-то, то засветится, то стук пойдет... Из церкви придет, соседские остатки в одну кастрюлю смешает, разогреет, поест, Богу помолится, на лежанку завалится. Спит тетя Мотя без задних ног. И сны ей снятся всякую ночь: божественные сны, с подробностями.

Жена Лопатина Николая Васильевича осталась в войну вдвоем с Лялей, работать пошла. Хоть и боярского она роду, а есть-пить надо. До сих пор работает: сворачивает фунтики из пергаментной бумаги, заполняет краской, галстуки разрисовывает. Или ковры из одеял по трафарету делает. Очень бойко идут в магазинах ковры из байковых одеял, только запах от краски — не продохнешь. А вечером, когда все с работы приходят, запирается жена Лопатина в своем кабинете, и чего она там делает — неизвестно. Раньше стихи мужу читала — теперь не читает. Раньше гулять с ним выходила — теперь не выходит. И к мужу, и к дочке совсем равнодушная. Слова лишнего не скажет, голоса не повысит, лишь глаза часто жмурит, когда

нервничает. Только раз, этой весной, в самое вишнёвое цветение попросила она мужа отвезти ее за город, в лес. Им попалась дальняя электричка, битком набитая мужиками с мешками, молочницами с пустыми, гремящими бидонами. Их стиснули при посадке, отшвырнули в разные стороны, приплюснули, и всё бы ничего — можно стерпеть, — но попался, как на грех, пьяненький дядечка, который звонко, по-пороссячи, икал в свое удовольствие, и придрался он почему-то к ее шляпке. Долго она терпела обидные замечания вперемежку с нутряными звуками, но дядечка оказался изобретательным, и когда от одной особо удачной остроты заржало полвагона, она скривилась, выкрикнула горлом и, работая локтями, отпихивая потные тела, полезла на всеобщую потеху по мешкам и бидонам к выходу. Теперь она из дома почти не выходит, а Лопатин Николай Васильевич сидит по вечерам на кухне, жарит свои любимые картофельные оладьи, слушает, как около помойного ведра шуршат тараканы. По воскресеньям заходит он к Хоботковым, с Верой Гавриловной беседует — он жалуется, она утешает, — и наверно, равнодушен к ней, потому что всякий человек тянется к женской ласке и доброте. Или выпьет как следует и опять идет к Хоботковым, ругает ту же Веру Гавриловну за доброту, за участие, за то, что она — как и он — всем всё, а ей ничего. «А мне ничего и не надо», — отвечает Вера Гавриловна. «Тебе не надо — мне надо!» Тоскливо человеку. Тоскливо и неуютно. А если дома неуютно, где тогда уютно?

Дочка Лопатина Ляля вышла замуж. Муж — офицер. Веня Вдовых. Золотая голова, золотые руки. Всем поможет, всё починит: горя теперь не знает квартира с водопроводчиками, слесарями, электриками. Этим летом демобилизовался Веня, пришел первый раз в кепке — и вроде, короче стал. Веня по вечерам учится, а жена его Ляля лениво ходит по квартире

в длинном, шитом золотом халате без рукавов, кружевное белье наружу выглядывает, полные белые руки нехотя двигаются, пук волос небрежно заколот, грудь вольно лежит под кружевами. Видная, крупная, в теле, глаза сонные — никакие, а Веня Вдовых рядом с ней, будто из концлагеря: запавший живот, обтянутые скулы, красные от недосыпания глаза и общий жизнерадостный вид от шапки золотых волос.

Когда они поженились, переживал Лопатин Николай Васильевич, что мешает им, потому что спит тут же, на старом диване, и Веня ужас как стеснялся, шелохнуться не смел на брачном ложе. Веня и теперь стесняется, а Ляля — нет. Ко всему безразличная, ко всему равнодушная. Везде никакая: что в постели, что на работе. Лениво бродит по коридору: все прелести напоказ — мужчин в соблазн вводит. А коридор за эти годы стал еще мрачнее, разводы расплзлись по потолку, штукатурка потрескалась и местами обвалилась.

Деревья на бульваре разрослись, кронами сомкнулись. Бродит по бульвару тихий дебил Гена, тоскует. Довоенные дети выросли, а новые не признают его, не принимают в свои игры: постарел Гена за эти годы, одряхлел не по возрасту. Уже не носится по бульвару, не заливается смехом, не тычет пальцем в грудь: «Ты сумасшедший, шедший, шедший, шедший...» Сохранилась от прошлого одна лишь любовь к бретелькам. В войну стояли на бульварах аэростаты воздушного заграждения, жили в землянках девушки. Стирала гимнастерки, белье, вывешивали сушить между деревьев, на виду у домов. Прилепился к ним Гена, помогал, тяжести переносил, они его за это подкармливали, подшучивали, убивая время, сватали к ефрейтору Сонечке, а он принимал всерьез и волновался, и прятался от смущения, и вздыхал от невозможного счастья. Унесли аэростаты, засыпали землянки, сидит Гена с няньками на лавочке, скучные разговоры слу-

шает. В том году прошла по бульвару шикарная женщина под руку с кавалером — бывший ефрейтор Сонечка: вскрикнул Гена, кинулся обнимать, от волнения замычал нечленораздельно — толстый язык не поспевал за чувствами — и перепугал всех: здоровенный, под два метра, нескладный детина с пожилым лицом, в сбитых ботинках, в коротких штанах с цветными бретельками. Насилу его няньки оттащили.

Бродит по бульвару старая, неряшливая женщина, вся в бородавочных кустиках, подолгу выгуливает толстого кота в набрюшнике. Она дергает за шпагат, обвязанный вокруг туловища, и раздраженно шипит на кота, а кот шипит на нее, и так они проходят по боковой дорожке, занятые друг другом до злости, до взаимной ненависти. Выходит на бульвар женщина помоложе с глазами печально-удивленными, выводит гулять петуха на ниточке. Петух медленно идет по газону и что-то клюет в пыльной, затоптанной детскими ножками траве, а женщина бредет следом, держит в руке конец ниточки, а голова наклонена вниз — всегда вниз, — будто разыскивает потерянное. Смотрят со скамеек няньки, неодобрительно поджимают губы на такое безобразие. А няньки на бульваре уже не те — раньше это была профессия, а теперь дело случая; меньше стало няnek: то ли повымирали в войну, то ли затруднения с пропиской; и уже начали хозяйева переманивать их, и кое-кто этим пользуется.

Зато ребятишек полно: звенит бульвар от крика, от звонков трофейных велосипедов, содрогается от топота ног. По вечерам слушают ребята радио, ждут заранее свои любимые передачи. На улице Воровского живет специалист-физик, у него стоит экспериментальный телевизор. Полдома набивается в комнату, когда идет пробная передача. Жизнь не стоит на месте, отставших не дожидается. Не успел моргнуть, а она вон куда ускакала! Хоть плачь, хоть догоняй — твое дело.

Об арестованных давным-давно Кукиных квартира почти не вспоминает. Война всё заслонила. Война встала стеной в памяти, порогом, о который спотыкаются воспоминания. Арестовали Кукиных, как потом оказалось, за связь с иностранцами, за возможные шпионские намерения. А как им было не связываться с иностранцами, ежели работали они во Внешторге, за границу ездили, оборудование закупали? Нонсенс — одно слово. По-нашему — абсурд.

Арестовали Кукиных — комната освободилась. Освободилась комната — въехал жилец. Петя Лапушкин — цирковой артист. Кому — горе, а кому — и нечаянная радость. Петя бывает дома редко, месяцами на гастролях пропадает, а когда приезжает — по утрам под потолком висит, уцепившись зубами за крюк. Тренируется.

Самарья Ямалутдинова с первых дней войны живет неприметно, тихо, мышью в подполе. Гладко причесана, строго одета: не улыбнется никогда, не пошутит, не побежит с лишним рублем в «Восточные сладости». Скулы обтянуло, глаза внутрь ушли: смотрит на мир Самарья, как из глубокого колодца. Нет на свете Рената: кто к ней теперь прикоснется, кому голову на плечо приклонит, для кого засветится? Сникла Самарья, будто ее выключили. Лежит ночами без движения на холодной, одинокой постели, жмурится в тоске: уходит от нее Ренат Ямалутдинов, расплываются в туманной дымке дорогие черты. И не вернуть, не остановить, не удержать. Приезжали порой земляки из Татарии, ночевали, как прежде, на дежурной раскладушке, самые настырные подваливали под бочок к красавице-вдове, и тут же съезжали в гостиницу, ни с чем. Потом приехал тихий пожилой Хаймертдинов, погостил чуточку, повздыхал, посочувствовал, да и остался насовсем на дежурной раскладушке. Ласковый, боязливый, вежливый до безобразия. Всех любит, со всеми согласен, каждому подда-

кивает. Только и слышно: «Ну, простите... Ну, извините...» Он раньше в Татарии жил, на окраине Казани, и свалился как-то на его дом метеорит. Пробил крышу, упал в подпол. В газетах писали, метеорит для музея отобрали. До сих пор рассказывает Хаймертдинов, рассказывает часто и с подробностями: как выглядел, какого размера, какие причинил разрушения, — все жильцы наизусть знают, — и жизнь свою делит на «до» и «после» падения, потому что всколыхнул метеорит его тихую жизнь, оставил в ней яркий, незатухающий след. Об одном только жалеет Хаймертдинов, что не сохранил вырезку из центральной газеты, где был описан этот исключительный случай с описанием метеорита и упоминанием фамилии, а не сохранил потому, что на оборотной стороне вырезки объезжал войска красный командир товарищ Тухачевский. Обрезал он заметку по самые буквы, и исчезли войска и лошадь, но не исчезло, как нарочно, лицо красного командира товарища Тухачевского, и потому сжег Хаймертдинов опасную вырезку — от греха подальше, — и очень переживает, что не может свои устные рассказы подтвердить документально. Он, Хаймертдинов, мужчина занудливый, но безвредный. По профессии административный работник. Административный работник может, к примеру, не знать таблицу умножения, но он обязан обеспечить, чтобы пятью пять всегда было двадцать пять. Хаймертдинов это понимает, но обеспечить — не обеспечивает. У них вся контора такая: и таблицы умножения не знают, и обеспечить не могут. Каждый вечер после ужина достает он толстую амбарную книгу, записывает расходы за день. Проезд до работы и обратно. Еда. Починка обуви. Плата за электричество. Мыло. Зубной порошок. Уже много лет подсчитывает расходы, анализирует, ищет пути для экономии, хочет понять, куда деньги уходят. Никак не сообразит занудливый Хаймертдинов, что подсчитывать надо не

расходы, а доходы, а так как они у него не увеличиваются и значительно увеличиться не могут, то и считать нечего. Посидит, поудивляется, и спать на раскладушку идет. А Самарья давно уж в постели лежит, глаза в тоске жмурит, дорогие черты вспоминает — вспомнить не может.

Работает Самарья завхозом в детском саду, продукты принимает, накладные подкальывает; а летом вместе с садом выезжает за город. Детей кормят кашей, киселями, провернутыми котлетками, и от такой пищи весь женский персонал поправляется, как на дрожжах, и Хаймертдинов поправляется тоже. Одна Самарья худая, черная, будто горит в ней вечный огонь, выжигает изнутри. Приезжают в сад комиссии, ревизии, просто начальство: погулять, позагорать, подкрепиться питательной детской пищей. Директриса — человек опытный: и накормит вволю, и аптечным спиртом напоит, и работу с детьми покажет. Танцы, пение, литературно-музыкальный монтаж с участием воспитательниц. В прошлом году один важный товарищ сделал директрисе замечание: «Всё хорошо, — сказал, — и цветочки, и ручейки, и ягодки. Но несколько аполитично. Висит в зале портрет, а дети не обращают на него внимания». Директриса перепугалась, обещала к другому разу исправить ошибку. Всё лето за каждым завтраком учила детишек: «Какаву хочешь?» — «Хочу». — «Скажи: дяде Сталину ура!» И к другому: «Какаву хочешь?» — «Хочу». — «Скажи: дяде Сталину ура!» И к третьему. И ко всем: «Дяде Сталину ура! Дяде Сталину ура!» Праздник прошел великолепно, дети кричали, как надо, важный товарищ пожал директрисе руку, но вскоре при репетиции новогоднего концерта столкнулись с новой трудностью. В ответ на возглас: «Кто это нам подарки принес?» вместо традиционного «Здравствуй, дедушка Мороз!» вся младшая группа, как один, упорно кричала: «Дяде Сталину ура!» Их

начали спешно переучивать, но дело шло туго, — то ли из-за отсутствия времени, то ли из-за отсутствия «какавы», — и тогда воспитательницы тоже начали кричать: «Здравствуй, дедушка Мороз!», и на празднике они перекричали тех малышей, которые упорно пищали: «Дяде Сталину ура!» Концерт опять прошел с большим успехом, важный товарищ опять пожал директрисе руку и сделал всего одно замечание. «Хорошо, — сказал он. — Очень хорошо. Только взрослые, к сожалению, более активны, чем дети. Это плохо. А так — хорошо!»

6

Четвертый урок — алгебра.

Пришел Пипин Короткий, встал в дверях — маленький, морщинистый, шея из складочек, голова — шар бильярдный, мохнатые брови навесиком, брюки балахоном, под пиджаком ковбойка, — встал, носом покрутил и говорит:

— А у вас тут не амбре...

Пипин Короткий живет за городом, ежедневно глотает кислород напополам с озоном и от этого очень чувствителен к духоте, пыли и прочим детским запахам. У него и сад имеется, и огород, и коза, и дачники летом, и вообще он человек сельский, городскую жизнь не уважает, потому что в городе в тяжелые времена не прокормишься. На его памяти тяжелых времен было предостаточно, а у него, как-никак, жена, шесть душ детей, и он бережет себя, хочет подольше прожить, чтобы всех на ноги поставить.

— Садитесь, — разрешает он, и не обнаружив в воздухе пыли и посторонних примесей, прямо от двери кидает на стол большой черный портфель.

Ребята усаживаются, стучают крышками, а он в дверях стоит, ждет. Раз портфель бросил, значит урок

будет. А то может и не бросить, уйдет в учительскую, пока пыль не уляжется и свежего воздуха не напустят. Пипин Короткий — человек не злой. У него опыт: он еще в земской школе учил — и хорошо знает, что у злого учителя самые упрямые ученики, и потому злой учитель живет на свете меньше, чем добрый. Он добрый, ему еще много прожить надо. Ребята сразу его раскусили, у них на такие вещи нюх. Он когда первый раз пришел, еще слова не сказал, только встал в дверях, вытащил громадный платок, трубно сморкнулся, а они уже поняли — добрый.

Пипин Короткий всегда проводит перекличку, и надо встать, а он внимательно поглядит, подумает, головой кивнет: «Садись». При перекличке оказалось, что исчез куда-то Саша Антошкин. Только что был, а теперь нет его, и никто не знает, куда подевался. Пипин Короткий закрывает журнал, ходит по рядам, объясняет новую тему. «Ура... что? Уравнение. Много... что? Многочлен...» Он спрашивает, а отвечать не надо. Это он себя спрашивает. Это у него манера такая. На уроке геометрии ни циркулем не пользуется, ни линейкой. Прямые линии от руки проводит, окружности — тряпкой. В одну руку зажмет конец тряпки с мелом, другой конец приложит к доске. Раз! — и окружность. Ловкий старичок Пипин Короткий.

Вдруг что-то послышалось. Вроде бы, «ой, ой...» — Это что? — спрашивает Пипин Короткий.

Все слушают. Тихо.

— Это на улице, — говорит Колька Борисенко.

Вдруг опять. Подольше и посильнее. «Ой, ой, ой-ой...»

— Кто это?

— Это на улице, — успокаивает поспешно Колька. — Не обращайтесь внимания.

Тут как застонет... Как заночет... Во весь голос! «Ой-ой-ой... Ай-ай-ай... Ой-ой-ой-ой... Ай-ай-ай-ай...»

— В коридоре, — говорит рыжий Вячик.

— В стене, — кричит Вовка Тимофеев.

— В шкафу, — уточняет Рэм Сорокин. Он ближе всех к шкафу сидит. Ему слышнее.

Стенной шкаф закрыт на задвижку. Открыли дверцу, а оттуда валится Саша Антошкин — вся спина от штукатурки белая. Все полочки из шкафа вынуты и на дно положены. Сам шкаф мелкий-мелкий: не иначе, когда закрывали, большую силу прикладывали, чтобы Антошкина умять.

Пипин Короткий буро покраснел, будто сразу обгорел на солнце, нижнюю губу выпятил:

— Кто?!

— Это не мы... — на всякий случай торопится рыжий Вячик.

— Это не мы... — поддакивает класс.

— Кто?!..

— Никто... — шепчет Антошкин, а сам по-воробыному глаза прикрыл.

— Вон! — командует Пипин Короткий. — К директору!

Весь класс смотрит на Кольку Борисенко. Он сделал. Больше некому. Значит, скоро за Колькой придут. Вот и повод. Вот и выгонит его Иван Егорыч. Антошкин, конечно, выдаст. Антошкин наедине с директором любого выдаст. Не от боязни наказания, а от неопределенности положения. С ним, с Антошкиным, нельзя идти в разведку. Да он и сам не пойдет, потому что в разведке отовсюду подстерегает неизвестная опасность, будто тысячи Колек Борисенко могут неожиданно шелкнуть по носу.

В дверь заглядывает нянечка:

— Борисенко! К директору.

Ну, всё! Вот и выдал...

— Иду, — неожиданно вскакивает Витька Борисенко и идет по ряду.

Восьмой «А» охает.

— Тихо! — кричит Пипин Короткий. — Борисенко, ты сделал?

— Я.

— Зачем?

— Захотелось.

— Вон! — и Пипин Короткий распахивает настежь дверь.

Порядок восстановлен, можно продолжать урок. Пипин Короткий путается, сбивается, объясняет плохо, а ребята уже не слушают, а кто слушает, тот не понимает. Такого еще не бывало в их богатой практике...

Вдруг — звонок. Намного раньше. Что такое? Почему? Не успели разобраться — все классы в коридор высыпали. Раньше — не раньше, а обратно не загонишь. Перемена.

7

Выскочили из класса, побежали вниз, а Витька уже навстречу идет, за сумкой, а позади него плетется Саша Антошкин, от страха приседает. Выгнали Витьку из школы, выгнали на неделю за безобразное поведение. Он только к директору вошел, пристально поглядел на Антошкина, и тот сразу же подтвердил, что именно Витька в шкаф его запихивал. Иван Егорыч не поверил — его просто так не возьмешь, — попросил Витьку постоять в коридоре, остался с Антошкиным наедине. Витька постоял-постоял, да и нажал на кнопку звонка. То ли нарочно, чтобы не дать им поговорить, то ли случайно: руки чесались. Выскочил из кабинета Иван Егорыч, закричал, руками замахал, выгнал Витьку на неделю из школы. За звонок и за Антошкина.

В суматохе позабыли про следующий урок. А следующий — урок истории. Придет историк, контужен-

ный на войне, комок нервов с вечной головной болью, с дергающимся глазом, с играющими желваками, придет, скрипя протезом, держа в руке длинную указку, которой он достает до третьего ряда. Он сядет боком к столу, с облегчением вытянет ногу: «К доске пойдет...», и палец с прокуренным ногтем поползет снизу вверх по журналу — всегда снизу вверх, это они хорошо знают, — и сердце замирает, когда палец проползает мимо твоей фамилии, и Антошкин как-то сказал, что он с удовольствием поменял бы свою фамилию на Яковлев, лишь бы скорее проползал мимо этот проклятый палец, и не боится один только рыжий Вячик, который знает всё наизусть, да и он, наверно, боится... А ведь историк ничего плохого не делает, только дотягивается своей длинной указкой и легонько постукивает виновного по голове, не потому, что тот балуется, — об этом даже подумать страшно, — а просто невнимательно слушает или громко говорит: говорить надо тихо, очень тихо, он и урок объясняет почти шепотом, морщась от постоянной головной боли... Зато дисциплина у него на уроках образцовая. Все учителя завидуют.

Третий звонок прозвенел, а историка всё нет. Ребята переглядываются, боятся удаче верить. Вдруг открывается дверь, входит секретарша директора, говорит печально:

— К сожалению, урока не будет. Заболел наш...

— Ура!! — взревел восьмой «А». — Домой!..

— Тихо! — кричит секретарша и дверь загораживает. — Постройтесь. Будем выходить организованно.

А все уже построились и толкаются, и кричат на замешкавшегося Леонарда Вахмистрова, чтобы скорее собирал свои петиханские рисунки. Быстро спускаются по лестнице, напирая на секретаршу, и в дверь, и на улицу, на вольный воздух, и забыли про директора Ивана Егорыча, который велел остаться после уроков, и забыли про завуча Елену Васильевну, которая тоже

велела остаться, и про преступления забыли, и про наказания. Завтра, завтра останутся, завтра разберутся, кто написал матерное слово поперек Индийского океана, чью драную сумку тащили на ремнях по школьному фасаду, зачем ползли на партах за немкой Ольгой Матвеевной... Завтра, завтра... Завтра — не сегодня.

Вывалились на улицу, а на заборчике сидит Витька Борисенко, на солнце щурится. Подошли, обступили кругом, встали и смотрят. Человек совершил подвиг. Человек принял вину на себя. На человека стоит посмотреть.

— Все? — спрашивает Витька.

— Все.

— Пошли.

Кучкой идут через двор, а Колька Борисенко, на голову выше каждого, идет рядом с Витькой, выкрикивает в голос:

— Братан у меня... Ну, братан! Золотой братан...

Пришли за сараи, встали в кружок: посередине Витька, Колька и Костя Хоботков. Саша Антошкин, герой дня, позади всех.

— Бей, — командует Витька. — Ты первый.

Костя не любит драться. Не любит, потому что боится. Боится, потому что не умеет. Не умеет, потому что не любит. Заколдованный круг. Надо бы решиться и разорвать его, но с возрастом это труднее сделать: в пятнадцать лет не пойдешь в первый класс.

— Бей, — повторяет Витька. — Два раза.

— Бей! — кричит кто-то. — Чего стоишь?

— Бей! Бей!!

Колька Борисенко садится на камушек, ноги скрестил, колени в стороны: этакий великолепный мужской экземпляр. Сидит и курит. Курит и поплевывает.

— Бей, — нагло ухмыляется Колька и зубом цыкает, рожу подставляет. — Чё ж ты не бьешь?

— А-аааа... — то ли вскрикивает, то ли всхлипывает Саша Антошкин, визжит, топает ногами и головой в живот сбивает Кольку на землю. Лежит Колька, барахтается в пыли, а Антошкин насел сверху, молотит кулаками по лицу, по голове, коленками бьет в пах. Здоровый малый Антошкин, а умения в драке нету. Стоит восьмой «А», смотрит. Никто не помогает, никто не мешает. Колька изловчился, дал разок: Антошкин к сараю укатился. Конец драке.

Антошкина подняли, отряхивают, успокаивают, а он размазывает по щекам пыль со слезами, кричит яростно:

— Я теперь каждый день бить его буду... Каждый! Вот увидите...

А Колька Борисенко грязь из ушей выковыривает, матом ругается.

Костя идет домой по Большой Молчановке. Мимо своей школы, мимо женской, мимо детской поликлиники, мимо дровяного склада, мимо родильного дома имени Грауэрмана, мимо аптеки на углу Воровского, куда надо подниматься по ступенькам, мимо булочной, мимо дома полярников, мимо фармацевтического института...

Пришел домой, поел, лег на диван лицом в подушку, заснул. Лучший способ от любой неприятности — поспать. Проснешься — всё то же, ничего не изменилось, но легче. Привычной.

А к вечеру в квартире умерла бабушка. Циля Абрамовна.

Приехал с гастролей цирковой артист Петя Лапушкин. С молодой женой. Она «каучук», человек-змея. Маленькая, гибкая, девчонка-девчонкой. Случай

свел их в одной программе. Там и расписались, там и свадьбу сыграли, прямо на манеже.

Пришли жильцы, набились в комнату, расселись на диване, на стульях, стали молодую жену оглядывать. «Тося», — говорит, и жесткую ладошку протягивает. Полез Петя в чемодан, достал две бутылки. Поздравили, выпили, одобрили Петин выбор и ушли по своим делам, чтобы молодым не мешать.

Тетя Мотя пошла в церковь. Замаливать грехи свои и общие, свечки ставить, нищих оделять, кликушествовать на всеобщее умиление. Дядя Паша и тетя Шура, Нинкины родители, парадно приоделись и пошли во МХАТ. Культпоход всей фабрики на пьесу великого пролетарского писателя Максима Горького «На дне». За ужином накормили Нинку чесноком и ушли спокойные. После чеснока не очень-то нацелуешься. Нинка пожевала чаю, мятных таблеток, платье накинула и убежала. Сидит в кино, слева-справа два парня руки ей мусолят, а она им в темноте по очереди улыбается. Софья Ароновна в поликлинике: сверлит, пломбирует, население обслуживает. Семен Михайлович Экштат по бульвару гуляет, пьет сельтерскую воду возле памятника Пушкину. Манечка с кавалером в консерватории: строго, скромно, возвышенно. Самарья с Хаймертдиновым у директриссы на дне рождения. Сидят за одним столом дружным детсадовским коллективом, пьют разведенный медицинский спирт, песни запевают. «Что ж ты, Вася, приуныл, голову повесил...» Жена Лопатина уехала с обеда славать галстуки. Приемный пункт за городом, вернется не скоро, переждет на платформе людскую сутолоку, часы пик. Лопатин Николай Васильевич задержался на работе: он в такие дни всегда задерживается, а Веня Вдовых не пошел в вечернюю школу: он в такие дни никогда не ходит. Воспользовался отсутствием тестя и тещи, блаженствует с Лялей в отдельной комнате. Цирковой артист Петя Лапушкин ушел к друзь-

ям, показывать молодую жену. Мама Кости на службе: печатает, стенографирует, глушит себя непомерной работой. Сергей Сергеевич переоделся, ушел в клуб. Торжественный вечер, посвященный тридцать первой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Доклад, концерт, танцы, буфет-складчина. Заикнулся было, что не хочет в буфет, так на него накинулись: «А кому охота? Каждый мог отказаться...» Костя с няней рано легли спать. Костя на кровати, няня на полу. Она-то и услышала через стенку, как застонала Циля Абрамовна, как прокричала неразборчиво чужим, незнакомым голосом.

Няня встала с матраца, босиком пришлепала к Циле Абрамовне, а та уже отходит. Вздохнула легко, сказала что-то по-еврейски, быстро-быстро — няня не поняла и не запомнила — и умерла, будто заснула. Только стоит — не скатывается в мертвом глазу последняя слеза. Няня сложила ей руки на груди, закрыла глаза, перекрестила рабу Божью Цилю. Воротились домой жильцы, сидели до ночи на кухне, тихо переговаривались, жались друг к другу, слушали, как кричит в комнате Софья Ароновна.

Костя просыпается утром, весело бежит умываться, а в доме покойник. Стоит на кухне Софья Ароновна, ест прямо из кастрюли, и мелкие слезы часто каплют в холодный украинский борщ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Ждать и догонять — последнее дело!

Поднялись по лестнице к чердачной двери, забились в темный угол, сели на любимую батарею, закурили, замахали руками, заговорили разом: три года отбарабанили — вот уже четвертый пошел — срочно пора тараканить — каждый лишний час ножом по сердцу — ради чего дни считали — листки календаря на чековую иглу накалывали — спорили — ссорились — шли на конфликт с начальством... Ради чего?

Кричат шепотом — дело секретное, перебивают друг друга — дело безотлагательное: решается судьба, будущее, успех, карьера, перемена положения, прогресс: прогресс — это всегда перемена, но перемена — это еще не прогресс.

Два месяца волнений: солидная фирма — хорошо платят, расширяются — нужны люди, удобный момент: проси больше — дадут больше... Соврали кадровику про прежнюю свою зарплату, да он тоже не лыком шит: попросил принести комсомольские билеты, вроде бы, для оформления, они и поверили, и принесли, а там взносы не с тех денег — влипли ребята. Привычный к обману кадровик не рассердился даже: «Мне обидно не то, что вы врете, а то, что вы думаете, будто я вам верю», — попросил неделю сроку, обещал позвонить. Очень уж, видно, люди нужны...

Сегодня ровно неделя, сегодня должно решиться... Там наверное, наверняка хорошо. Если здесь плохо, то где-то там должно быть хорошо. Просто обязано.

Иначе, на что надеяться? Устали ждать, устали волноваться, сидят на батарее, дымят сигаретами — бывшие однокурсники, друзья по несчастью, — обволакивают темноту дымом, давят окурки о батарею, — все нервы наружу, подходи — щупай, — под ногами пепел, пепел и пепел, и продохнуть невозможно, и хрипят голова от дыма и волнения. Всем им уже по двадцать шесть, но первый раз их судьба от них самих зависит.

— Тихо! — говорит Толя Кошёлкин. — Командовать паникой буду я!

2

Толя Кошёлкин вскакивает с батареи, бежит вниз, к секретарше: не звонил ли кто по городскому телефону, не просил ли что передать. Секретарша у начальника злющая, вредная, своенравная: дай такой власть, она до конца насладится. Вот она и наслаждается, и командует, и измывается как хочет и над кем хочет. Перед ней больше, чем перед начальником, заискивают. Начальник может сделать одну крупную пакость, секретарша — тысячу мелких. Ребята заранее сговорились, жребий бросили, наметили жертву, кому за ней ухаживать, кому соблазнять, цветы дарить, конфетами кормить, интимные слова на ушко нашептывать, чтобы смилостивилась, чтобы оттаяла, звала к телефону милого друга. Выпал жребий Толе Кошёлкину. Сколько он сил положил, сколько нервов, пока убедил ее в нежных и бескорыстных чувствах, — подсчитать невозможно. Секретарша — женщина недоверчивая, подозрительная, в критических letech, привыкшая на своем посту к мужскому обману и к разочарованиям: такую разве проймешь? А всё из-за проклятого телефона. Не захочет — не позовет. Не разрешит — не позвонишь. А что? Телефон служебный. Частные разговоры в рабочее время не допускаются.

Толя Кошёлкин возвращается сразу, мгновенно, через две ступеньки. Этот зараза-кадровик, бесчувственная душа, — за что ему только деньги платят! — неужто не понимает, как им важен его звонок? Мог бы войти в положение, мог бы понять среди своих анкет, что они не фотографии размером шесть на девять, а люди, живые люди, — ущипни — синяк, уколи — кровь, — у которых решается судьба, будущее, перемена положения... Курить больше нету сил, дым закручивается спиральями, в горле будто рашпилем провели, сухость одна и кашель...

— Ну, мужики... — сипит Толя в холодной ярости. — Дело чести!

Нос у Толи заострился, щеки ввалились: сразу видно, вступил человек на очередной гибельный путь и не сойдет с него теперь до конца. И это так. Можно заранее попрощаться с Толей Кошёлкиным. Потому что были уже случаи. Потому что за эти годы Толя Кошёлкин погибал неоднократно, и всякий раз — весело, убедительно и несолидно.

Впервые это случилось на сцене институтского клуба, при переполненном зале. Толя Кошёлкин изображал тупого студента на лабораторных работах по электротехнике, и этот самый студент своими неумелыми действиями производил короткое замыкание. Гас свет, артисты раскидывались по сцене в живописных позах, свет загорался снова, и зрители вяло аплодировали нехитрой авторской выдумке. И тогда Толя Кошёлкин, который любое дело доводил до конца, — если он, конечно, за это дело брался, — решил устроить на сцене настоящее короткое замыкание. Он приготовил заранее два голых провода, включил в сеть и замкнул в нужный момент. Брызнули искры, охнул зал. Свет погас и зажегся снова.

Тупой студент умирал. Он умирал по-настоящему, убедительно и достоверно, и ни один народный артист не сделал бы этого лучше, и даже Константин Сер-

геевич Станиславский со своей знаменитой системой не смог бы к нему придраться. Его трясло, его било и колотило об пол, его ломало и корежило, а зрители топали от восторга ногами, зрители орали и бесновались, и кричали «Бис!» Дали занавес, но тупой студент продолжал умирать на пыльных досках. Только тут почуяли неладное и ногой вышибли провод из его рук.

Пока его откачивали, ребята быстренько прикинули силу тока, и когда Толя очнулся, радостно ему сообщили, что по всем правилам электротехники его должно было убить, почему не убило — непонятно, и теперь всем своим существованием он, Толя Кошёлкин, бросает вызов всемирно известному закону Ома.

Второй раз он умирал под парашютом после прыжка с аэростата. Как только повесили объявление о приеме, он уже знал, что запишется, прыгнет и случится несчастье. А какое несчастье может случиться? Не раскроется парашют? Он раскрылся. Запутаются стропы? Не запутались. Сядет на высоковольтную линию? Не сел. Повиснет на дереве? Не повис. Опустится на воду? Не опустился.

Он прыгнул с аэростата и сразу же начал дергать за стропы, управлять полетом, — какой смысл лететь просто так, мешком? — и от этого дерганья его тут же понесло куда-то вбок, и принесло на пасеку. Он повалил ногами улей, вместе с ульем накрылся парашютом, и озверевшие от ужаса пчелы отомстили ему за всё. «В таких случаях, — объяснил потом пасечник, — первым делом затыкают лётку». Можно подумать, что где-то еще бывали такие случаи.

Когда его отбили от пчел и увезли в больницу, пасечник сообщил любопытствующим, что пчелы должны были зажалить его до смерти — лошадь, и ту зажаливают, — почему не зажалили — ему не совсем ясно, но раз уж он выжил, то теперь до ста лет ревматизма не будет. Весь клуб ржал от восторга,

разглядывая его опухшую физиономию, а он до сих пор бледнеет от одного запаха меда.

В третий раз он умирал посреди праздничного стола, на винегрете, огурцах и селедке с луком. Сюда, на этот стол, его занесла скользкая мостовая и очередное увлечение мотоциклом. Его «ИЖ», поскользнувшись на повороте, — а повороты он всегда проходил на скорости, иначе зачем мотоцикл и зачем повороты? — высадил смаху обе оконные рамы и вместе со своим седоком рухнул в полуподвал, прямо на свадебный стол, где в этот самый момент отдавали за муж единственную горячо любимую дочку. Хозяин дома обезумел — дело было зимой, — хозяин дома рванулся к топору, чтобы зарубить эту гадину, этого частного владельца, который вместе со своим паршивым мотоциклом нахально развалился на его богатом столе, но убивать уже не было необходимости. Он лежал убитый на остатках колбасы, картошки и домашних малосольных огурчиков, а рядом, как верный конь, теплым боком привалился к нему «ИЖ», в моторе что-то постукивало, колесо крутилось, из выхлопной трубы на дорогих гостей шел отработанный газ.

Его увезли на «Скорой помощи» — мотоцикл хозяин дома оставил под залог, — и санитары от хохота вываливались из машины. Врачи не могли его осматривать, сестры — перевязывать, нянечки — ухаживать: от смеха у них тряслись руки. «Вряд ли выживет», — решил после осмотра главный врач и неожиданно для самого себя глупо захихикал.

При выписке ему сообщили, что жив он остался случайно, что по всем правилам медицины его должно было убить, а почему не убило — никто не понимает: рамы были дубовые, крепкие, старые — теперь таких не делают, — да еще на окне стояла железная решетка, чтобы в комнату не залезли воры.

Толя Кошёлкин в своей короткой жизни умирал неоднократно, а в промежутке сколько еще было увлечений, которые тоже оканчивались печально, но без смертельного исхода. А в перерывах между увлечениями он отсыпается, отъедается, наливаются щеки, нос пухнет картошкой. Тихий, благодушный человек. И все-то ему неохота, все-то ему лень... Сидит, мурлычет песенки. «Как за Камой, за рекой, потерял я свой покой...» — «Толя, — позовут его, — а Толя... Пошли погуляем». — «Меня не любишь, — отвечает Толя, глядя ленивым кошачьим глазом, — но люблю я. Так берегись...» — «Чего беречься?» — спросит непосвященный. «Любви моей». И опять сидит, опять мурлычет. «Возле города Тагил я Марусю полюбил...» Вдруг — клюнуло. И всё. И конец. Щеки вваливаются, нос заостряется. Человек встает с места и добровольно идет к своей неминуемой гибели.

На тихого Бог найдет, а резвый сам наскочит.

3

— Мужики! — вскакивает Толя. — На тысячу двести пойдем?

Молчат мужики. Не привыкли мужики говорить о деньгах. Им, мужикам, стыдно. Их так воспитали.

— Пойдем или как?

— Тысяча пятьсот — оно, конечно, больше, — дипломатично сообщает Саша Терновский. — И значительно...

— Значит не пойдем.

— Куда ты торопишься? — морщится Саша. — Дай нам поколебаться.

— Ты молчи. Ты у нас интеллигент.

— Да, — гордо соглашается Саша. — Я у вас интеллигент.

Саша Терновский — интеллигент. У него малень-

кое, от скул к носу заостренное, лицо, мелкие, близко посаженные глаза, — когда пьет чай, оба глаза в чашку смотрят — смазанные, будто не в фокусе, черты лица, и никакими ухищрениями он, искусный фотограф, не может добиться четкости на собственных портретах. Вроде бы, всё есть — и нос, и рот, и глаза, но чуть-чуть размыто: так и хочется лишний раз навести на резкость. Саша Терновский не любит свое лицо.

Он уже много лет увлекается фотографией, в кладовке при кухне оборудована у него лаборатория, и все ее стены, как обоями, от пола до потолка сплошь заклеены снимками: один и тот же портрет, не в фокусе, размноженный в сотнях экземпляров, а поверху, бордюром, нацарапано тушью, с подтеками: «Где вы купили такое лицо?» И посреди одинаково насупленных физиономий — узкий, вертикальный снимок Саши Терновского на пляже, в цветных сатиновых плавках, которые пошила мама: детские, неразвитые плечи, широкий таз, тонкие ноги, сутулая спина, — как постоянное напоминание о самом себе, чтобы не забывал, чтобы смирял гордыню, чтобы философски относился к неудачам в личной жизни.

Саша Терновский пишет мрачные стихи про разбитую жизнь, несбыточные надежды, могильный тлен и хлад — «Я наполнил грустью бокал, и бокал стал золотом ал...», — а потом с огромным удовольствием читает их всем, кто пожелает его слушать, подвергая в паническое недоумение инженерно-технический состав серийно-конструкторского бюро машиностроительного завода. «Как приятно в ночной тиши пить остатки своей души...» Однажды он чуть было не женился на поэтессе — тоненькой девочке с большими глазами, которая тоже писала грустные стихи, но в последний момент она вышла замуж за известного спортсмена-десятиборца, родила ему ребенка-великана и перестала не только писать стихи, но и слушать.

Это случилось еще в институте и было первым ударом в его личной жизни, а таких ударов по сей день состоялось великое множество и, очевидно, будут еще, несмотря на лабораторию, сплошь заклеенную его портретами. А он лежит, как камушек на дороге, подходи и бери, и если не взяли, то по недомыслию, потому что он готов полюбить любую женщину, которая сделает к нему только один шаг. И за бездетность с него не надо вычитать. Это несправедливо — вычитать с него за бездетность.

Саша Терновский живет вдвоем с мамой, по вечерам, после ужина, дружно забираются с ногами на диван, слушают Бетховена на допотопном проигрывателе, обмениваются впечатлениями. Его мама — женщина интеллигентная, утонченная, неизлечимо болезненная — получает пенсию за убитого еще в финскую войну мужа, и этой пенсии, пока Саша учился, им не хватало на самое необходимое, а теперь он инженер, у инженера — зарплата, изредка — премия, и на необходимое им уже хватает, а на желаемое — нет. Все институтские годы Саша проходил в отцовских сапогах, галифе и кителе, а под кителем — ковбойка, а на ковбойке — белый, крахмальный, пристегиваемый воротничок и полосатый галстук с гигантским узлом. Он был один такой на весь институт: длинный, сутулый, экстравагантный до несуразицы. Все время он был окутан иронией, как дымовой завесой, и под этой завесой сначала учился, теперь работает, и не выйдет из-под нее, наверно, никогда. И все время надо быть начеку, чтобы не прорвалась завеса, чтобы не сдуло ее в сторону, а то прорвется — и ты голый. Детские, неразвитые плечи, широкий таз, тонкие ноги, сутулая спина...

У Саши Терновского аналитический ум. Любит докапываться до основы, до того места, откуда всё начинается. Где другой проскочит на скорости мимо, Саша непременно зацепится. Когда изучали «Вопросы

языкознания», одну из последних теоретических работ И. В. Сталина, когда весь институт залихорадило, все факультеты старательно обсасывали тонюсенькую брошюрку, дружно обругивали неизвестного им доселе академика Марра, отложив в сторону другие науки, вот тогда Саша и задал на семинаре свой наивный вопрос, повергший преподавателя в священный ужас: «А что за срочность за такая? Неужто в техническом институте изучать больше нечего?» Спасибо преподавателю, оставил без внимания кощунственную выходку, а то бы, как миленький, вылетел Саша из института, — и неизвестно куда бы еще залетел. А многие в группе даже не поняли его вопроса. Сказали — изучай, они и изучали. А почему, зачем, — и в голову не пришло. Подумаешь, проблема... Как изучили, так и забыли.

Саша Терновский — человек неуравновешенный. У него никогда не поймешь, что будет через минуту. Да он и сам этого не знает.

После второго курса они поехали в военные лагеря, и здесь его нервная система развернулась в полную силу. Вместе со всеми он погрузился в теплушку — девять человек на нару, семьдесят два на вагон, — и по дороге лихо, не хуже других, пил теплую водку, сидя по-турецки в тесном пространстве между нарами, запрокидывая голову и стучаясь затылком о верхние доски. Лихой воин, бывалый солдат, почти герой... Дома он вечно страдал от бессонницы, от шума машин — хилое, нервозное дитя большого города, — а здесь сладко спал на голых трясущихся досках, под грохот и лязг колес, а утром ребята перешагивали через него и не могли добудиться. Такая у него странная нервная система, которая чувствовала себя превосходно на голом теплушечном полу.

На третьи сутки они приехали в лагерь. Из Москвы, из столичного института, первый раз в этот город: на вокзале им приготовили торжественную

встречу. Подошел поезд, грянул оркестр, распахнулись двери теплушек и посыпались на главный перрон грязные, чумазые, оборванные столичные студенты. И только один человек сошел с поезда в парадном костюме, при галстукке. Это был Саша Терновский, потому что представление о военной службе было связано у него с девушками, которые машут платочками вслед проходящему отряду. Прямо с вокзала, срочно изменив распорядок встречи, их повели строем в баню. Оркестр играл «Марш нахимовцев», студенты пели и лихо, по-разбойничьи, подсвистывали, а на тротуарах и в окнах домов недоумевали местные жители — кто это такие и куда их гонят. Если это заключенные, то почему они поют, а если это вольные люди, то почему они так одеты? После бани у Саши Терновского галифе повисли сзади неприличным мешком, гимнастерка торчала дыбом, из широких голенищ выползали на свет серые бязевые портянки. Они маршировали по жаре в противогазах; вскакивали ночью по тревоге; строем шагали в столовую, где на крашеных столах стояли кастрюли с кашей, залитой сверху коричневым жиром неизвестного происхождения, и миски с брусками вареного свиного сала: мало кто мог это осилить, с песней ходили в кино на «Фанфана-Тюльпана», приспособленного для солдат, укороченного, без пикантных сцен, так что с трудом проглядывал сюжет из-за многочисленных вырезок; пили чай с подсыпанным в него порошком — бромом, что ли? — чтобы солдатам легче было переносить воздержание, — а солдаты тоже не дураки, за неделю до увольнения переставали пить чай; и, наконец, Саше Терновскому перед строем объявили благодарность за образцовое несение службы. На другое утро он сбежал в город, в самоволку. Так захотела его нервная система, а он с ней никогда не спорил. За самоволку он заработал наряд на кухне и целые сутки неторопливо мыл жирные алюминиевые миски, невозмутимо выгребал из них остатки еды,

не разгибая спины, окутанный паром, над железным лотком с горячей водой, под торопливые понукания голодных солдат, которым не хватало посуды. И его нервная система даже получала от этого некоторое удовлетворение.

И еще раз она сработала совсем недавно, в ночь под Новый год. Вдруг, ни с того, ни с сего, Саша Терновский захандрил, заперся в лаборатории, поставил единственную свою пластинку с дикой музыкой, — самодельная рыночная продукция на рентгеновской пленке с проглядывающим на просвет скелетом, — и слушал ее одну весь вечер. Она шумела, трещала, издавала непотребные звуки, а Саша молча кривлялся в такт музыке, дергал руками и ногами, и сотни лиц с нечетким изображением пристально глядели на него со стен. В двенадцать часов ночи он вошел в туалет и с первым ударом курантов дернул за веревку смывного бачка «Эврика».

— Ребятушки, — говорит Саша Терновский, — а ребятушки... Плохо наше дело. Не выпить ли по такому случаю молочка?

Они сидят в цеховом буфете, пьют холодное молоко из пивных кружек и сочетают приятное с полезным. Полезное — это молоко, а приятное — это молоко в рабочее время. Вокруг них все пьют молоко, едят мятые, коричневые пирожки с повидлом, густо мажут горчицей толсто нарезанную вареную колбасу и дешевую ливерную, а женщины берут ее домой целыми кругами, чтобы не толкаться после работы в очередях, не тратить время. Буфет выкрашен масляной краской в синий, безжизненный цвет, душно пахнет эмульсией и каленой металлической стружкой, пронзительно, на высоких тонах, верещат станки, да еще рядом, за стенкой, нескончаемо постукивает компрессор, будто пальцем по темени, и часто грохает молот в соседнем кузнечном цехе. Молоко подрагивает в

кружках, на больших окнах с частыми переплетами дребезжат стекла.

— Мальчики, — вздыхает Рита Колчина, — ой, мальчики... На улице-то теплынь! Какая погода пропадает!..

И тоскливо смотрит в пыльное окно.

— Какая пропадает погода... — печально, на весь буфет, повторяет Рита Колчина, и интонация у нее чеховских героинь: «В Москву! В Москву!...» На сцене это звучало бы прекрасно, на сцене этому бы аплодировали, но здесь, в цеховом буфете, рядом с ливерной колбасой и пирожками с повидлом, вызывает общее недоумение.

Рита Колчина — актриса. Еще в школе на всех вечерах читала она стихи, чаще всего Константина Симонова — «Зал, а не первых три ряда...», — выступала на городском смотре, прославилась, была приглашена в Кремль, на концерт для солдат охраны. Они собрались в проходной у Спасской башни, и солдаты настороженно сверяли каждое лицо с фотографией на паспорте. Потом мелкими группами с сопровождающим их провели по территории, а внутри здания был еще один пост, новая проверка, пристальное оглядывание с ног до головы, быстрый, врасплох, вопрос: «Оружие есть?» А когда их, запуганных, завели в артистическую, в дверях встал солдат, у лестницы встал солдат, в кулисах стояли солдаты, и в зале тоже сидели сплошь одни солдаты. Рита Колчина выступала первой и от волнения так хорошо прочитала стихи Константина Симонова — «Зал, а не первых три ряда...», — что клубное начальство предложило ей выступить у них еще раз. Она, конечно, согласилась, но ее больше не приглашали, может быть, потому, что в первых трех рядах сплошь сидело одно начальство, и оно косвенно могло принять стихи Константина Симонова на свой счет. Во время концерта за сценой ходил мужчина во френче, но без погон, и вежливо

предупреждал товарищей артистов, чтобы они ничего не уносили с собой на память. Так редко люди попадали в Кремль, что потихоньку отвинчивали выключатели, вывертывали лампочки из настольных ламп, брали мыло в туалете, чтобы похвастаться потом дома.

После десятого класса мама Риты Колчиной сумела убедить свою дочку, что лучше быть плохим инженером, чем плохим актером. Она поверила маме, пошла в технический вуз, сразу же поступила в театраль- ный коллектив и в первом спектакле затмила всех участников, потому что они прежде всего были студенты, а потом уже актеры, а она прежде всего была актрисой. С тех пор и до последних дипломных дней она блистала на подмостках, ее окружала толпа поклонников, через которых трудно было пробиться, но она независимо прошла мимо всех, скромно гордясь своей исключительностью.

На курсе, где училась Рита, было мало девочек. Факультет считался мужским, и девочки туда не шли. С десятков девочек было на их курсе, и это подчеркивало исключительность их положения среди ребят и исключительность Риты Колчиной среди них. Весь курс, весь мужской факультет неослабно следил за ней, все институтские годы прошли под внимательными взглядами, и это придало театральность ее поведению, машинальную театральность позы, движения, речи, будто всегда в центре, под взглядами сотен зрителей. И если рядом не было зрителей, она сама смотрела на себя со стороны.

Когда Рита пришла на завод, сразу же оказалось, что плохим инженером так же плохо быть, как и плохим актером. Она попала в мир техники, к которому не имела раньше никакого отношения, да и не должна была, наверно, его иметь. Ее пугали вызовы в цех, шум, который не перекричишь, грязь, от которой не спасешься, иронические взгляды рабочих, колючие

спирали стружек и неуклюжие железки, которые так красиво выглядели когда-то на чертежах, нравились ей и подтверждали правильность выбранной профессии. И потом, на заводе она мгновенно, без длительного примиряющего перехода, превратилась из премьеры в рядового инженера, ушло сценическое обаяние, обаяние издали, но остались ранние морщинки, прыщик на носу, прочие бытовые мелочи, не дающие права на исключительность. А главное, осталась театральность, неистребимая наигранность, которая здесь, среди чертежных досок и разговоров о зарплате, выглядит вызывающе неуместной. Все девочки с их курса давно уже замужем, с детьми, с мужьями, с разводами и любовниками — словом, идет нормальная жизнь, — а она до сих пор одна, отпугнув в институте скромных, привлекая нахальных, которые, в свою очередь, отпугивали ее. И хотя ребятам, ее друзьям, всего по двадцать шесть лет, ей, женщине, уже двадцать шесть. Недавно Рита Колчина начала курить и это ей тоже не идет. Ей многое не идет в жизни, так же, как многое шло на сцене.

— Мальчики, — тоскливо говорит Рита, — а мальчики... Может, подадим заявления?

— И что? — лениво спрашивает Саша Терновский.

— Там видно будет...

— А если не будет?

Отношения у Саши с Ритой сложные, нахально-иронические. Так он выделяет женщин, которые ему нравятся. Это Саша подговорил ребят, и они, незваные, пришли к Рите в гости, принесли пол-литра, шумели, через силу говорили пошлости. А у Риты чинная мама, везде скатерти, салфеточки, фарфор и хрусталь, всякие бронзовые штучки, фотографии единственной дочки в разных ролях. Мама напоила их чаем с кексом, а они попросили жареной картошки. Выпили пол-литра, огляделись, свернули голову подарочному пингвину с ликером. Пили приторный ликер, заедали

жареной картошкой. Рита бледнела от злости и обиды. А чинной маме ребята понравились. «Смешные какие... Даже притворяться не умеют». И вздохнула. Внуков хотела мама, внуков...

— Братцы, — предлагает Костя Хоботков. — А не взять ли еще по кружечке?

Берут еще по кружечке, наливаются молоком по горло. Сидят, развалившись, на металлических стульях с тонкими ножками, лениво двигают по пластмассовому покрытию тяжелые, толстого стекла кружки. Грохает молот в кузнечном цехе, звякают стекла, подрагивает молоко на доньшке.

— Какая погода пропадает!..

5

На выпускных экзаменах в школе Костя Хоботков писал сочинение на вольную тему: «Образ молодого советского человека великой Сталинской эпохи». Привели их в актовый зал, усадили по одному, выдали чистые листы с печатью школы, следили неотрывно, в туалет выпускали тоже по одному, чтобы, не дай Бог, не обманули учителей, не списали друг у друга, не подсунули тайком заранее приготовленное. От этих молодых всего можно ожидать! Во время экзаменов неожиданно умер Иван Егорыч, директор школы. Пришел из РОНО, с очередной проработки, с очередного привычно-надоедливое напоминания о великих задачах, усталый, голодный, прокуренный. Разогрел еду себе и больной жене, наелся, наглотался, — к сердцу подступило, — помыл посуду, прибрал в комнате, накричал на легкомысленную, неизвестно с кем шлявшуюся дочку, лег с газетой на диван, часто-часто задышал и умер. Хоронили его торжественно, говорили речи, плакали, гроб под музыку обносили вокруг школы... — «Зачем они играют на похоронах? Только

мучают живых...» — процессия из учеников и учителей растянулась на километр до Ваганьковского кладбища, и директора соседних школ пристально вглядывались в этот торжественно-формальный ритуал. На выпускном вечере ребята пили, курили в открытую, ночью пошли по Арбату, по бульварам, на Красную площадь, пели на всю улицу: «Под городом Горьким, где ясные зорьки...» И Ольга Матвеевна, немка, ходила вместе со всеми и тоже пела, бойко стучала каблучками, задорно потряхивала кудряшками перманента. Под утро они отвели ее домой, весь класс поцеловался с ней у подъезда, а Колька Борисенко два раза, и из окна дома им улыбался муж Ольги Матвеевны, герой войны. Через час они вернулись еще раз, прокричали под окнами: «Сказочку! Сказочку!.. Сказочку!» — и Ольга Матвеевна выглянула смущенная, с растрепанными волосами, в наспех запахнутом тесном, обольстительном халатике, а за ее спиной из глубины комнаты недовольно бурчал муж, и ребята тихонько удалились, сразу догадавшись, что на этом их отношения закончились и целоваться с нею больше не придется.

Они разошлись по домам, а потом разошлись по институтам, и после школы с ее маленькими, привычными классами было особенно неуютно в огромной аудитории, где они писали сочинение и где набились сотни чужих, незнакомых конкурентов. «Пишите поменьше, — посоветовал преподаватель. — Главное, чтобы ошибок не было». Так Костя попал в мир техники. Он вставал затемно, ехал через весь город, с пересадками, приходил в холодные слесарные мастерские и отчаянно бил молотком по зубилу, обтесывал кубик. Неуютное помещение, непривычная работа, упрямый металл... Молоток проскакивал мимо, ударял по руке, и вокруг зубила вся кисть была в крови, в каемочке от сбитой кожи.

А потом — не успели оглянуться — покатило с

горки: черчение, сопромат, детали машин, военные лагеря, заводские практики, и одна из них, самая памятная — пятьдесят третьего года. В то лето неожиданно, вдруг, расстреляли Лаврентия Павловича Берию — ближайшего друга и соратника великого вождя и учителя, и всех практикантов тут же послали по цехам разяснять это событие. Костя пришел к литейному цеху, где на затоптанном, плешивом газончике кучками лежали рабочие, и прочитал вслух сообщение в газете, которое они, очевидно, сами уже читали или слышали по радио. «Вопросы есть?» — спросил он, холодея. «А чего ж, раньше не знали, кто он такой?» — заорал чумазый малый в проеденной потом майке и требовательно уставился на Костю, будто именно он, Костя, обязан был знать об этом раньше и принять необходимые меры. «Не знали, — кратко ответил Костя, боясь вступать в длительные обсуждения. — Еще вопросы есть?» Больше вопросов не было. Рабочие ели хлеб, колбасу, пили молоко прямо из бутылок, — в литейке молоко давали бесплатно, за вредность, — и в их темных руках оно выглядело ослепительно белым. «Всё ясно», — бодро крикнул все тот же малый, и беседа закончилась, хотя никому тогда не было ясно, и докладчику Косте в том числе, и тем, кто послал его проводить беседу, тоже. Но теперь у Кости уже был опыт, и осенью его выбрали агитатором. Ему досталась старая, дощатая развалюха со множеством веранд, пристроечек и сарайчиков, примкнутых к основному строению, будто дом распирало от тесноты. По вечерам, когда все жильцы были в сборе, Костя не ходил агитировать — стеснялся. Он приходил днем, после лекций, и вел беседы со старой, расплывшейся еврейкой в широченном фланелевом халате с цветочками, с уныло-обвисшим бантиком на груди. Она готовила обед, устало шаркала шлепанцами из кухни в комнату, из комнаты на кухню, а Костя ходил за нею следом, мешался в тесных прохо-

дах и на ходу рассказывал про разрушения военных лет, про восстановление хозяйства, про успехи по сравнению с тысяча девятьсот тринадцатым годом и про ежегодное, первого марта, снижение цен. «Конечно, — машинально поддакивала усатая еврейка, занимаясь делами, думая о своем, уставая на глазах. — Конечно, конечно... Ну, еще бы... А вы как думали?» А потом, вдруг, остановливалась, терла лоб, мучительно вспоминала: «Лук — положила... Морковь — положила... Петрушку... Петрушку я клала или нет?» — «Клали, клали», — подсказывал Костя и опять принимался за свое: про разрушения, про восстановление, про успехи по сравнению... Перед самыми выборами ему подкинули вдобавок к развалюхе здоровенный этаж заводского общежития, где во многих комнатах жило по три-четыре семьи. Сколько кроватей, столько семей. Каждый женился, приводил жену, отделялся от соседей занавеской, ел, пил, спал, принимал гостей, рожал детей. Костя пришел туда в первый раз, поглядел на это дело и больше уже не ходил, не агитировал. Так они и проголосовали — несагитированные. К этому времени он уже завел себе новых приятелей, а со школьными друзьями встречался редко, в метро или на улице, с любопытством выспрашивал подробности. Последний раз, уже старшекурсниками, собрались они у Лешки Костикова. Как и прежде, его мама напекла пироги, ребята пили вино, чай, поздно вечером сложили в пакеты печенье и хворост, пошли гулять. Ходили по улицам, пели песни, сытые и разомлевшие от вина, чая, сладких пирогов. На Кропоткинской площади заметили тощую, пугливую собаку, обступили кругом, кормили печеньем, хохотали. Собака только разохотилась, только вошла во вкус, как откуда-то из темноты подворотни высунулся маленький человечек в протертом демисезонном пальто, в ушанке, завязанной под горло тесемочкой, в черных, подшитых валенках. Он подошел поближе, разглядел,

что они делают, тихо попросил: «Зачем собаке? Лучше мне дайте...» Они захлебнулись стыдом и отдали ему все пакеты, всё печенье, весь хворост. «Я не себе, — говорил человечек, прижимая пакеты к груди. — Я ребятишкам. Побаловать...» И ушел обратно в темную подворотню, шаркая по асфальту подшитыми подошвами. Сразу расхотелось есть, стало зябко от ветра, который задувал с Москвы-реки, из-за огромного забора вечного строительства неначатого Дворца Советов, и они тихо разошлись по домам. А наутро, придя в институт, Костя увидел пустой постамент. Еще вчера стоял на нем огромный Сталин в длинной, до пят, шинели, и его часто белила одна и та же женщина в замызганном халате, ковыряя мочалом на длинной палке в гипсовой ноздре, а сегодня он исчез без следа. Говорили, что ночью подъехал автокран, неопытный в подобных делах крановщик подцепил тросом за голову и, конечно, тут же ее оторвал. Обезглавленную статую увезли на грузовике, на постамент поставили глиняную вазу. Стоял Сталин, великий вождь и мудрый учитель, теперь стоит ваза. Жизнь хороша своими переменами.

6

Жизнь хороша своими переменами.

— Пошли! — командует Толя Кошёлкин. — Будем действовать.

Залпом допивают молоко, с грохотом отодвигают металлические стулья, торопливо идут обратно, по горячему солнышку, под голубым небом, в постылый отдел, и Толя Кошёлкин сразу бежит к секретарше — не звонил ли кто? — дарит коробку конфет, купленную в буфете, вскладчину: даже Рита Колчина, и та участвует в совращении секретарши. Говорит, недавно звонили. Кто это, говорит, тебе звонил? Это надо

же: только начал соблазнять, ничего еще от нее не добился, а она уже ревнует!

Ребята стоят в дверях, на свои места не идут, а перед ними общий зал, сплошь заставленный старыми, разнокалиберными столами и тяжеленными, неуклюжими станинами кульманов. Столы однотоумбовые, двухтумбовые, темные, светлые, разошедшиеся, заляпанные тушью и чернилами, стулья любых видов и фасонов — склад подержанной мебели, — изредка, пятном, новый стол или стул светло-желтого лакированного дерева, и повсюду папки с чертежами, кальки, листы ватмана. Стоямя стоят на подоконниках, висят на веревочках за чертежными досками, пылятся приколотые к кульманам. Душно, жарко, шумно, как на вокзале, — не сосредоточишься, — теснота невообразимая, над головами с угрозой для жизни свешиваются чугунные противовесы, и от стола к столу нужно пробираться боком, отчего беспрерывно рвут женщины нежные капроны производства Тушинской чулочной фабрики и безуспешно бегают по магазинам за прочными немецкими.

Когда-то это была маленькая группа, теперь — солидный отдел. Создайте сегодня на пустом месте организацию — завтра она уже не будет справляться с работой и оттого неумолимо начнет расширяться. Начальник отдела хитрее хитрого, осторожнее осторожного. В ошибках не признается никогда, хоть режь. Даже когда прижмут, не признается. Любит обвинять других и задолго до любого срока заводит особую папку, куда складывает документы, оправдывающие задержку. Задержки может и не быть, но документы не помешают. «Во всем виноваты они. Мы тут ни при чем». Кто они — это неважно. Главное, что мы ни при чем. Если из цеха попросят что-нибудь изменить, ответ никогда не дает сразу. «Мы прорисуем, — обещает. — Мы прочертим». А там, глядишь, в суматохе и позабудут. «Никогда никому ничего не обещай.

Обещал — не выписывай. Выписал — не подписывай. Подписал — откажись». Только так. Главное для начальника, чтобы план был большой, убедительный, — пока составит, голову сломает, выдумывая, — и конечно же, обязательство: выполнить план к двадцать восьмому числу, в феврале — к двадцать седьмому. Бывают иногда авралы, когда все по цехам разбегаются, до ночи на заводе торчат, а потом затишье, сидят, как пожарная команда, ждут сигнала. Машина давно в серии, вопросов почти нет. Работает — и ладно. Лучшее — враг хорошего. Но при каждом аврале бежит начальник к директору завода, кричит, что не справляется, что работы невпроворот, просит подбавить инженеров. Вот и сидят инженеры плотными рядами — плечо к плечу, — вносят в чертежи незначительные изменения, скоблят кальку бритвочками, заливают потертое место эмалитом, чтобы не расплылась тушь. Теснота в зале несусветная, воздух — не продохнешь, а начальник отдела вылезает по вечерам из кабинета, переставляет столы и стулья, выкраивает место еще для одного инженера. Очень он любит это занятие, свидетельствующее о неуклонном росте отдела, а наутро приходят сотрудники, бродят по залу, ищут свои столы, ждут — не дождутся, когда же, наконец, произойдет полное насыщение зала инженерно-техническим составом.

Когда ребята пришли из института и разобрались что к чему, зашумели, заругались с начальством, кричали на собраниях такое, что старики от испуга жмурились, неодобрительно качали головами. Молокососы, мальчишки, без году неделя... Скучно им, видите ли, работа неинтересная... Работа — не цирк. Интересно ждать нечего.

И тогда Саша Терновский торжественно объявил забастовку. Приходил ровно к началу, садился за пустой стол, складывал перед собой руки и спокойно сидел до обеда, смотрел на плакат «Все в ДОСААФ».

Пообедав, садился опять, изучал плакат дальше, ждал конца работы. Два томительно долгих месяца он ничего не делал — это же надо такое выдержать! — и начальник отворачивался, проходя мимо, потому что не было у начальника опыта борьбы с забастовщиками. «Я конструктор, — говорил Саша. — Дайте конструкторскую работу». Его стыдили — он улыбался. Ему грозили — он составлял график загрузки отдела: сколько работают, сколько курят, сколько разговаривают — и получалась жуткая картина. Его оставляли в покое — он опять сидел за столом, положив перед собой руки. Со всего завода бегали люди поглазеть на невиданное чудо.

Потом ребята успокоились, на время смирились и лениво стали делать то же, что и все. Только премию вначале стеснялись получать, а теперь привыкли и ворчат вместе со всеми, что мало дают. Саша поставил стол к стене, отгородился кульманом, чтобы со стороны не было видно, чем он занимается. То ли спит, то ли работает, то ли книжку читает. Достал чековую иглу, в конце каждого дня отрывал календарный листок, со вкусом накалывал. Потом стал накалывать в начале дня. День только начался, а он его уже наколол. Осталось, шестьсот пятьдесят девять дней, шестьсот пятьдесят восемь, шестьсот пятьдесят семь... «Прихожу на работу, а она горит!» Мечта...

7

Скоро обед, и разминая на ходу папиросы, потянулись в курилку мужчины, собрались в кружок, чтобы в тихой беседе выкурить последнюю, предобеденную, чтобы подготовить желудки к принятию пищи. В центре группы стоит уважаемый человек, Петр Семенович Лобода, с лицом и манерами крупного ответственного работника. Петр Семенович выку-

ривает в день по две пачки «Беломора», и его всегда можно застать в курилке. Прокурился насквозь, до сипа, до жесткого ночного кашля: чем меньше работы, тем хуже для здоровья. Петр Семенович всегда стоит в центре группы, будто знает что-то очень важное, чего не знают другие, и от того у него небрежная снисходительность в разговоре, которая смущает неуверенных в себе людей. Петр Семенович — опытный человек. Если ему дают задание, первым делом он пытается доказать, что эту работу выполнять не надо. Если это у него не получается, пытается свалить ее на другого. Если и это не получается, не торопится выполнять приказание начальника, ибо его могут еще отменить. Поэтому любую работу он делает сначала тихо, а уж потом... тише, тише и тише... Петр Семенович по должности техник, ведет группу крепежных деталей и прилагаемого к изделию инструмента, но в душе он — человек искусства, и весь этот крепеж и прилагаемые к изделию инструменты глубоко презирает. Он регулярно посещает кино и театры, выписывает польский журнал «Экрак» с портретами мировых кинозвезд, играет в заводском театральном коллективе положительных персонажей и отрастил на мизинце левой руки длинный ноготь, который холит и лелеет. Петр Семенович любит делать те дела, которых от него не требуют, и не любит делать те дела, которых от него требуют. Сразу после войны мастерил он золотые кольца из меди с брильянтами из плексиглаза, и эти кольца ходко шли на рынке, радуя покупателей своей красотой и дешевизной. Он вынес с завода дефицитную хлорвиниловую пленку, склеил из нее матрац, накачал велосипедным насосом и с комфортом укладывается на ночь, восхищая жену, детей и многочисленных соседей. Он не пожалел времени, многие годы изучал методы гипнотических сеансов, в обед гипнотизировал желающих, и они выполняли несложные его команды, пока начальник отдела,

известный перестраховщик, не запретил ему категорически. Завод режимный, выпускает ответственную продукцию, — мало ли что может натворить человек, обладающий таким опасным свойством: загипнотизировать вахтера в проходной, рабочего у станка, директора в кабинете. Петр Семенович очень обиделся на начальника, мучеником ходил по отделу, но если бы его основной работой, за которую платили деньги, был гипноз или склеивание матрацев, он наверняка бы не делал ни того, ни другого, а занимался бы крепежными деталями и прилагаемым к изделию инструментом. Петру Семеновичу Лободе уже под пятьдесят, у него жена, трое детей, живут они довольно скудно, и мог бы он при своих золотых руках подработать на стороне починкой примусов, керосинок и водопроводных кранов, но Петр Семенович давно уже не опускается до этого, а лежит после работы на своем знаменитом матраце и философствует.

— И этот самый фокусник, — рассказывает Петр Семенович, затягиваясь со всхлипом, до самой глубины, — открывает обыкновенный ящик, кладет туда графиню, хлопает крышкой и начинает перепиливать...

Дверь от толчка — настезь. На пороге — Славка Малютин.

— Семеныч, кончай трепаться! Подумаешь, фокусы... Жрать захочешь — научишься.

Петр Семенович сразу смолкает. Славка Малютин будет говорить сам и другим говорить не даст. Нечего на это и рассчитывать. Такой хам — можно подумать, что притворяется. Хам, нахал, горлопан и рвач. Ничего святого у человека. После института Славка попал в контору по наладке автоматики. Их пришло трое с одного курса, но он один был высокий, здоровый и горластый, и его сразу же назначили старшим инженером, а тех двух — просто инженерами, потому что начальник конторы был еще погорластее Славки

и по личному опыту считал, что только здоровые и горластые могут руководить и пользоваться уважением у подчиненных. Первым делом Славке досталось налаживать автоматику на винно-водочном заводе. Он быстренько отладил, все были довольны, а потом раз в неделю начала соскакивать нужная пружинка, автоматика портилась, и его вызывали для ремонта, после чего благодарно угощали изделиями собственного производства. Частые поломки Славка объяснял тяжелыми условиями работы автоматики в особой атмосфере винно-водочного завода. Долго он ходил туда сам, а потом протрепался друзьям, и они стали ходить по очереди, восхищаясь Славкиной выдумкой, и наверно, ходили бы вечно, но однажды, когда все были в разгоне, туда послали непосвященного, который и закрепил намертво нужную пружинку. Через месяц очередь истосковавшихся специалистов взволновалась, никто не понимал, почему завод не вызывает специалистов, и тогда Славка поехал туда сам, в порядке надзора за автоматикой. Нужная пружинка снова начала соскакивать, и очередь сдвинулась с места. Все было хорошо, но Славке стало тесно в конторе и он перешел на завод. Перешел, осмотрелся, предложил начальству создать проблемную лабораторию. Проблемную лабораторию создавать не стали: единственной проблемой, которой она могла бы заниматься, была проблема, чем занять ее работников, — но Славку заметили, заметили его пробивной характер, и вскоре сделали начальником группы оформления и согласования. Катается по организациям, утрясает и согласовывает, громит и обличает и, как правило, добивается своего, потому что берет на горло и не каждый способен выдержать его натиск. Славка Малютин слаб в инженерном деле и в спорах старается не доводить до конкретного. Но зато в деле оформления цены ему нет. Рисуют изделие акварелью или масляной

краской, с тонами и полутонами, в хитром ракурсе, на фоне индустриального пейзажа, и директор завода под такую убедительную картинку рапортует где надо про заводские успехи, пробивает нужные деньги. Потому что это конкретно. Потому что это впечатляет. Изделия может еще и не быть, но картинка обязана быть хорошей. «Группа марафетчиков» — зовут Славкиных бандитов, а он не успокаивается на достигнутом, ищет потихоньку новое место, хочет переходить в большие начальники. Только сложно это. Больших начальников со стороны не берут. Большие начальники везде свои есть.

Пришел в курилку Славка Малютин, — и все умолкли. Стоят, курят, а Петя Демидович, некурящий, дым нюхает. Скучнейший человек Петя Демидович, шуток не понимает напрочь, но считается не скучным, — как это часто бывает, — а серьезным. У него прямые, лоснящиеся волосы, унылое, землистого цвета лицо, широкие бедра и походка, как у верблюда. Врачи советуют Пете побольше есть овощей и фруктов, и он все лето, с ранней весны, жует лук. В столовую не ходит, а приносит в пакете завтрак: бывшая французская, а ныне, после борьбы с космополитизмом, городская булка разрезана пополам, намазана маслом, кусок колбасы засунут между половинками и гигантский пук лука. Ест булку, не вынимая из пакета, выдвигает ее по мере съедения, откусывает низко, у самой бумаги, и со стороны кажется, будто ест он ее вместе с пакетом. Аккуратнейший человек Петя Демидович. У него одна щетка для стряхивания пыли по много лет служит. А новые, сэкономленные щетки, он постоянно домой относит. Исполнительнейший человек Петя Демидович. Написано «Стойте» — стоит. Написано «Идите» — идет. Ничего не написано — ничего не делает. «Вход» — входит, «Выход» — выходит, «Переход» — переходит. Даже если не надо на другую сторону. На столе у него толстое стекло, а под

стеклом высчитанная им самим таблица, написанная тушью, любовно, каллиграфически, по которой сразу видно, на какие дни недели приходится первое мая и седьмое ноября до самой его пенсии. Петя — инженер, тоже кончал институт, — а кто его теперь не кончал? — но инженерным делом заниматься не способен. Так богата человеческая природа, что для любого места найдется человек, который ему соответствует. Петя Демидович соответствует своему месту.

Заходит в курилку «Стяпан Стяпаныч», прикуривает у Славки Малютина — ближайшего по должности, — уходит в коридор дымить в одиночестве. Негоже ему при его-то ранге с простыми сотрудниками лялякать. «Стяпан Стяпаныч» — номенклатура, старый общественный работник. Много лет терся при разных организациях — от «ДОСАРМа» до спортклуба, — потом споткнулся на чем-то, переизбрали, прислали в отдел начальником над двумя столами. А почему бы и нет? Он универсал. У него нет никакой специальности, поэтому его можно посылать начальником куда угодно. «Стяпан Стяпаныч» посидел, покомандовал двумя столами, пошел на курсы по усовершенствованию. Чего — неважно. Главное, на курсы. А после курсов он уже усовершенствованный и два стола ему мало. Даже неудобно предлагать два стола. До курсов два и после курсов два? Минимум, — пять. Дали ему пять столов. «Стяпан Стяпаныч» посидел, покомандовал, дождался разрядки в пром-академию. Хорошего работника жалко от дел отрывать, а его — пожалуйста. Послали его. Кончил академию, вернулся на родной завод. Пять столов разве ему предложишь? Смешно... Сделали заместителем начальника отдела. Сидит в отдельном кабинете, смотрит в окно, газету читает, сушки грызет. Очень он любит сушки, каждый день вязочку приносит. Стол у него пустой, чистый, ни бумажки. Его дело — стенгазета, премия, обязательство, график отпусков. Здесь

он в своей стихии. Стоит только поглядеть, как «Стяпан Стяпаныч» ведет собрание, как объявляет повестку дня — гурман! На первое — доклад, на второе — прения, на третье — разное... Над столом у него приколот большой лист ватмана, красным по белому заповеди бригад коммунистического труда, и сбоку — галочки, черточки, восклицательные знаки, чтобы чувствовалась работа, и один вопросительный знак, будто что-то непонятно. «Стяпан Стяпаныч» — стреляный воробей, его на хромой кобыле не объедешь.

Вдруг через стенку пение послышалось. Манюня в туалете поет. Здесь мужчины курят, анекдоты рассказывают, а там женщины причесываются, губы красят, к обеду готовятся. Манюня песню поет и в зеркало смотрит, как проступают через прозрачную кофту роскошные формы. Когда есть на что поглядеть, трудно оторваться. Было недавно в «Вечерке» объявление: «Всесоюзному дому моделей требуются манекенщицы сорок шестого, сорок седьмого и пятьдесят четвертого размера третьего и четвертого роста». Манюня прикинула свой рост, свои возможности, одолжила у подружки, на всякий случай, итальянский купальник, пошла показываться. Но ее не взяли. Забраковали ее сразу же, даже до купальника дело не дошло, потому что толстые, бутылками, ноги, большая грудь, широкая кость, и не соответствует Манюня повышенным требованиям, которые предъявляются к манекенщицам, и нет у нее утонченной элегантности. Дураки они там, в этом доме моделей, ничего в женщинах не понимают. Она когда по улице идет — грудь вперед, бедра на стороны, — все мужики вздрагивают. Так для кого же они там, в этом доме, женщин отбирают? Для себя или для народа? А что касается утонченной элегантности, откуда она у нее возьмется, ежели мать у Манюни — прачка, отец — сторож, и живут они в доме барачного типа, на пятнадцати метрах вповалку: она, мать, отец, две сестренки, — а

на весь длинный, утыканный дверями коридор один битый умывальник, да и тот на кухне. Живет Манюня бедно, деньги матери отдает, и еда у них круглый год — картошка с соленым огурцом. А она молодая, видная, у нее тело хорошей еды, красивой одежды просит. Хочется одеться, как другие, вкусно поесть, съездить к морю, искупаться. Чем она хуже? Потому и ходит за ней по заводу дурная слава. Говорят, что Манюня — широкая натура, не умеет отказывать. Только угости, только подари, а нет ничего — приласкай. А она и сама не скрывает. «Мне, — говорит, — лишь бы до Крыма доехать. А там прокормят...» Наскребет денег на дорогу и едет. На пляж выйдет, платье скинет — отбою нету. А она смелая, она каждому прямо в глаза смотрит. Веселая Манюня, никогда не унывает, имеет свою заветную мечту выйти за офицера с большой звездой, и выйдет, наверно, и поедет с ним куда угодно, хоть на край географии. Покоренный ее прелестями, сватался к Манюне отставник, степенный мужчина с дачей и участком в гектар, да она за него не пошла. «Понимаешь, — говорила каждому, — ежели я замуж выйду, то завяжу с этим делом. А этот со своим гектаром разве способен?» Сходила к нему пару раз. «Не, — говорит, — не способен». В этом году поступила Манюня в институт на заочное отделение, ходит порой на лекции, задания делает. Их с завода много поступило, так она у тех списывает, экзамены на троечку сдает. Когда с первого захода сдаст, когда с третьего. Знаний не было, нет и, наверняка, не будет, но инженером станет, если, конечно, институт не бросит. Она не бросит. Она не дура.

Время идет к звонку, мужчины в курилке гасят папиросы, но тут медленно открывается дверь, входит Зубков, старый, седой, морщинистый. Зубков дольше всех работает на заводе, еще с довоенных времен. Его растормошишь — он расскажет, как размещалось

когда-то на территории конструкторское бюро, а главный конструктор, все его заместители и половина начальников отделов были заключенные, жили при заводе в бараке с решетками — он и сейчас стоит, тот барак, и решетки целы, — и в кабинете у главного конструктора сидел неотлучно солдат, и домой их не отпускали, и вольным было стыдно и тоскливо прощаться с ними по вечерам: весь день они работали вместе, над одним делом, а вечером эти ехали домой, а тех вели в барак. Рассказывает об этом Зубков робко, неохотно, с застарелым испугом: то ли можно уже говорить, то ли еще нельзя, а может, наоборот: то ли еще можно, то ли уже нельзя. Старик Зубков — человек скромный, незаметный, обремененный семьей и заботами. У него и жена, и дети, и внуки, и живут они все вместе в деревянном домике на Пресне, а домику тому сто лет. От постоянного детского крика не высыпается Зубков и потому часто спит на работе с карандашом в руке. Уткнет карандаш в чертеж, глаза рукой прикроет, а со стороны кажется, будто и не спит он вовсе, а задумался над очередной технической проблемой. Давно уж — многие годы — стоит Зубков в очереди на жилье, но никак ему не дадут: есть более нуждающиеся. Сколько лет ничего не строили, и как-то обходились, и получение — не квартиры — комнаты — было делом чрезвычайным, а нынче начали много строить, и все заволновались, заторопились пожить в нормальных условиях, потому что сейчас только поняли, как они живут. А завод огромный, нуждающихся — пропасть, в первую очередь барачным, подвальным да больным, а у Зубкова, как-никак, собственный дом, и хоть давно уже обследовали его жилищные условия и даже в акте записали, что старший сын с невесткой спят на полу под столом, каждый раз находятся более нуждающиеся, да и Зубков человек тихий, постоять за себя, покричать где надо не может. Когда приезжал на завод министр, один слесарь со

сборки подкараулил его, встал поперек дороги, рассказал про свои жилищные бедствия. «Надо дать», — сказал министр. И дали. Так ведь надо еще на такое решиться, да и нуждающихся столько, что ежели каждый будет останавливать, ни у какого министра времени не останется.

Зубков медленно, лунатиком, входит в курилку, никого не замечает, шепчет чего-то, топчется на месте, разводит руками, а потом машинально, будто нехотя, расстегивает брюки, мочится в урну для окурков.

Тишина в курилке мертвая.

— Петрович, — окликает Славка Малютин, — а Петрович... Шел бы ты лучше в кабинку.

Зубков вздрагивает, дергает по сторонам головой, дрожащими руками застегивает брюки.

— Профком... — шепчет он и растерянно улыбается, и губы от волнения прыгают, будто мяч на резиночке. — С профкома...

— Ну?!

— Утвердили... Трехкомнатную...

Все «Ура!» кричат. Кто радуется, кто завидует, кому наплевать.

Тут и звонок. Обед. Всех из курилки, как ветром сдуло. Стоит один Зубков, качается. К стене привалился, ватные ноги не держат.

Звонок еще не отзвонил, а в отделе никого уже нет. Бегут, торопятся, обгоняют друг друга на пути в столовую. Асфальт — по асфальту, газон — по газону, клумба — по клумбе. Окажись на пути гора — гору своротят, туннель прогрызут... Все энергичные, предприимчивые, решительные: откуда что берется! Штурмуют кассы и гардеробы, раздаточные окна и зава-

ленные грязной посудой столики, едят быстро, сосредоточенно, будто за ними гонятся, и наглотавшись, медленно идут обратно, дышат воздухом. С одиннадцати до половины третьего не прекращается поток в обе стороны. Цех за цехом, отдел за отделом. Голодные — туда, сытые — обратно. А раздатчицы в столовой — виртуозы. Кладут на руку до локтя по три тарелки, — картошка, гречка, макароны, подливка — и шницелями шлеп да шлеп, шлеп да шлеп, шлеп да шлеп... С одиннадцати до половины третьего. Жар, пар, духота... Бак за баком подтаскивают, бак за баком опоражнивают, и рычит в углу, давится мясом огромная красная мясорубка... Жутко смотреть, какую прорву поглощают люди. Спешно приготовленную, спешно поеденную. А потом изжога, колит и гастрит, и работает при столовой диетический зал, куда по предписанию врача ходят пострадавшие.

Опустел отдел, и ребята сразу к телефону — кадровику звонить. Прибежали, а там секретарша сидит, конфеты доедает. «Нет, — говорит, — аппетита. Есть, — говорит, — неохота». Какой уж там аппетит, когда она всю подаренную коробку в момент смолотила.

Саша Терновский волком глядит на Толю: «Надо было потом конфеты дарить. Потом...» Толя Кошёлкин снисходительно улыбается, подхватывает секретаршу под руку, шепчет на ушко обманные слова, уходит из комнаты. Саша сразу за телефон, а в трубке голос начальника: телефон параллельный, всё слышно. Говорит начальник на неслужебные темы: про подписные издания, про Ромена Роллана, про тридцатитомного Диккенса. Размяк, оттаял душой, кончит не скоро. После гигантского перерыва стали выпускать собрания сочинений и отдельные издания, и волнения вокруг этого огромные. Становятся с вечера очереди, со списками, с милицией, с переключкой в семь утра. Подписывают всё подряд, меняются, вы-

писывают по почте из областных издательств, покупают втридорога на книжной толкучке, забивают шкафы разноцветными корешками. Мы не читаем, дети всё прочитают. Уходит на это нерастраченная энергия, удовлетворяется томление духа, появляются у интеллигентных людей темы для культурных разговоров. Настолько все изголодались, что выпуск «Книги о вкусной и здоровой пище» вызвал волнение в обществе, рассматривался как знак прогресса и перемен. После сурового, аскетического времени взахлеб читали гастрономические рецепты, подолгу разглядывали соблазнительные картинки, впервые ощущали ту общую скудость, к которой привыкли.

Начальник кончил говорить, и Саша сразу набирает номер.

— Алло! — кричит кадровик. — Не слышу! Говорите громче...

Громче нельзя, громче — в кабинете услышат. Саша набирает еще раз.

— Не слышу! — орет кадровик. — Ничего не слышу. Перезвоните из другого автомата!

И вешает трубку.

Вскочили, побежали по пустому отделу. Мимо изумленной секретарши: «Некогда, тетенька, некогда...», мимо толстой вахтерши с пустой кобурой на боку: «Живее, мамаша, живее...», за проходную, на улицу, к соседнему автомату: «Кончайте болтать, девочки! Закругляйтесь! Не вы одни! Разговор свыше трех минут не разрешается...»

Влезли в будку, вдавились с трудом, Риту прижали, приплюснули к Саше Терновскому. Тело к телу. Смутились, порозовели, отвели глаза: вспомнили одновременно. В прошлом месяце ездили всем отделом на день в колхоз, проработали полдня, сбежали вчетвером. Забрались на стог сена, лежали, смотрели на облака, дышали душными, сильными запахами трав, а потом Саша предложил сыграть в «дурака», на оде-

вание. Кто проигрывает, на того надевают какую-нибудь вещь. Играли каждый за себя, ребята старались, выигрывали, напяливали на Риту свои пиджаки и рубашки. Было ей жарко и неудобно, кололи потную спину сухие травинки, заливало глаза, — им, подлецам, лишь бы поржать, — и тогда Саша предложил сыграть на раздевание. Кто проигрывает, тот снимает с себя вещь. И опять ребята старались, выигрывали, и Рита сняла поочередно все их пиджаки и рубашки, сняла босоножки, косынку, колечко с камушком. Они подшучивали, поддразнивали, и Рита — человек самолюбивый, — поколебавшись, сняла платье, осталась в трусиках и белом кружевном лифчике. И опять они выиграли, стараясь во всю, помогая друг другу. Была пауза. Запах сена дурманил головы. Всё сместилось, стало чуточку нереальным. Ребята безразлично собирали карты, тасовали, потихоньку посвистывали, а Рита насупилась, закусила губу. «Ну, конечно...» — насмешливо протянул Саша, и она рывком сдернула лифчик. Ребята отвернулись. «Играйте, — прошипела она сквозь зубы. — Ну?!» Они играли, уткнувшись в карты, а у нее пылали щеки, и грудь от озноба покрылась гусиной кожей. «Сдаемся!..» — заорал Саша, и они кубарем покатались вниз со стога. «Вы могли выиграть еще раз...» — крикнула сверху Рита, а потом с ней была истерика, и они боялись лезть обратно на стог. С тех пор Саша Терновский ее почти не задирает, только поглядывает искоса да хмыкает задумчиво.

Толя бросает монетку, набирает номер: короткие гудки, линия занята. Еще набирает — занято. Еще — занято. Занято, занято, занято...

— Последний раз, — говорит Толя. — Если занято — надо ехать.

Набирает номер. Занято. Надо ехать.

Бегут, садятся в машину. У Толи родительский «Москвич» — первая модель, и оттого вечно грязные руки и под ногтями черно. Теперь на эту коробочку

иронически поглядывают, а когда-то весь дом сбежался, буржуями обзывали, дворник грозился шины проколоть: двор она ему загораживала.

Толя Кошёлкин лезет под капот, начинает чего-то мудрить. У него машина с секретами, чтобы не угнали, не сняли колеса. Очень много существует хитрых способов — от особых гаек на колесах до наборных замков на руле, — и лучшие умы продолжают работать в этом направлении. «Наш моральный облик, — объясняет Саша Терновский, — стоит на таком высоком уровне, что его надо уже поддерживать».

Толя едет быстро, рискованно, обгоняет грузовики, трясется по бульжнику на трамвайных рельсах. Ребята кричат, перебивают каждого, до конца не дослушивают. Настроение боевое. Шутка ли, едут навстречу собственной судьбе. Часто ли такое доводилось? Совсем не часто. Можно сказать, никогда. «Закрой на минуту глаза! — кричит Саша водителю. — Закрой на минуту глаза... Я тебе такую картину нарисую — ахнешь!»

Лихо подкатывают к отделу кадров, распахивают все дверцы, выпрыгивают из машины, кидаются в дом. Кабинет заперт. Постучали — не откликается. Сунулись туда, сунулись сюда — нигде нету. Ушел кадровик, исчез в неизвестном направлении.

— Обедает, — говорит уборщица. — Сей момент вышел.

— У, твою... — со злостью бормочет Толя, и Рита делает вид, что ее это не касается.

Толя Кошёлкин — неудачник. Ему вечно не везет. Весь мир, все люди, независимо от пола, национальности, вероисповедания и занимаемой должности, делятся на тех, кому везет, и на тех, кому не везет. Это закон, это проверено на практике многими поколениями, и Толя Кошёлкин — еще одно тому подтверждение. Есть на свете люди, которым везет, и есть — которым не везет. Если иногда все-таки везет человеку,

которому обычно не везет, то человеку, которому обычно везет, в этот момент везет еще больше. И наоборот, если не везет человеку, которому обычно везет, то человеку, которому обычно не везет, в этот момент не везет до такой степени, что по сравнению с ним все остальные находятся в полном порядке. Так вот, Толе Кошёлкину всегда не везет. Чаще всего от своих неудач страдает он сам, но там, где невозможно страдать одному, вместе с ним страдают и другие. Толя родился в этом веке, и для него — а вместе с ним и для других — ученые приготовили атомную бомбу, за ней водородную, глобальные ракеты, какие-то жуткие кнопки, которые можно нажимать, но почему-то до сих пор не нажали: испытывают наши нервы. Ничего подобного до Толиного рождения не было, и можно смело сказать, что не он родился в ядерный век, а ядерный век состоялся в его время. Он во всем виноват, — Толя Кошёлкин, хронический неудачник, — во всех несчастьях и войнах, в беззакониях и своеволиях, в распрях и проявлениях великой тупости, во всем, что хоть отдаленно касается его самого, а так как его касается абсолютно всё, творимое в мире, Толя Кошёлкин виноват во всем. И если бы он родился раньше, было бы плохо нашим предкам, а если бы он родился позже, стало бы нехорошо нашим потомкам. На наше горе, он родился в наше время. Толя Кошёлкин — наш современник. Ему, неудачнику, должно быть плохо — такая уж у него планида, — но мы-то за что страдаем?!

Нехотя садятся в машину, едут обратно, вылезают у проходной. Туда и обратно сгоняли в момент. А что толку? Ничего неизвестно, неопределенность полная... Пропади оно всё пропадом! Берут в ларьке по кружке пива, выпивают безо всякого удовольствия, плетутся в скверик досиживать перерыв. Сидят на скамейке, привалившись друг к другу, несчастные инженеры, дипломированные специалисты. Кому они

нужны такие?.. Многое после института позабывшие, мало получившие взамен, а главное, так и не выявившие: что могут, что под силу, какие из них инженеры?

Двадцать шесть лет каждому. Двадцать шесть лет... Господи, как поздно мы состоимся! И состоимся ли мы так поздно, Господи?!

9

«Подумать только, — часто повторяет Вера Гавриловна. — Костик — уже инженер!..» Постарела Вера Гавриловна заметно, ссохлась, уменьшилась в размерах, сдали нервы от постоянных волнений за мужа, за младшего сына. Сколько уж лет без войны вокруг войны ходим — то ближе, то дальше, — уже и привыкли, живем, будто так и положено жить, будто другой жизни и не бывает, а Вера Гавриловна не привыкла и не привыкнет никогда. Кто-то должен на белом свете беспокоиться за всех? Вот она и беспокоится. Волнуется без отдыха, без передышки: одного сына отдала, теперь к другому подбираются. И не защитишь, не спрячешь, не отгородишься дверью от страшного мира. Тут приезжала делегация из дружественной Германии, послали Веру Гавриловну сфотографировать вечер встречи, а она отказалась. Тихая, нежная, деликатная — наотрез. «Не пойду! Хоть увольняйте». — «Вера Гавриловна, мы понимаем ваши чувства. Но ведь это уже другие немцы». — «Для вас другие, для меня — те же». — «Вера Гавриловна, столько времени прошло — пора бы и позабыть». — «Вы добрые — вы и забываете. Я злая — я не забуду». Вера Гавриловна не забудет. Вера Гавриловна всё помнит. У Веры Гавриловны пометка сделана, узелок завязан на проклятой Германии: братская могила, а в могиле сын Лёка, девятнадцати лет, которому бы только жить да жить, да растить детей,

да радовать стариков-родителей. Не просите Веру Гавриловну. Она не забудет! Волнуется теперь за сына, за здоровье мужа своего Сергея Сергеевича. Характер у нее такой — волнительный. «Что ты беспокоишься? — улыбается Сергей Сергеевич. — Молодым я уже не умру».

После огромного перерыва стали строить дома, работы прибавилось, опытных специалистов рвут на части. Сергей Сергеевич командует большим отделом, вертится весь день, разрывается на тысячи дел, живет в свое удовольствие. Всё такой же быстрый, решительный. Даже в буфете. Берет стакан чая, коржик, два яблока. Режет яблоки на куски, бросает в чай. Не успевает кусок очутиться в стакане, как он подхватывает его ложкой, сует в рот. Делает это быстро, судорожно, глотает не жуя. Думает о делах, глаза беспокойно бегают по залу, никого не замечают. Потом выскакивает из буфета, бежит в отдел, на ходу включается в работу. Если он говорит «надо», все без звука остаются по вечерам. Все забывают про свои дела. Зато в другой раз, когда сверху торопят, требуют внеурочной работы, он обходит своих, потихоньку шепчет: «Бегите домой. Завтра доделаем». И впереди всех шагает к трамваю. Он всегда шагает к трамваю впереди всех, и знающие люди спорят с новичками на пиво, что его никто не обгонит на пути к трамвайной остановке. Был у Сергея Сергеевича сердечный приступ, приезжала неотложка, скрутило — думали не выкарабкается. «Всё равно не умру, — просипел сведенными от боли губами. — Сдохну, а не умру». Даже врачаха засмеялась. Выкарабкался Сергей Сергеевич, и опять бегают, и внешне не меняется совсем, будто его засушили, и дни своего рождения праздновать не дает, и повторяет, как заклинание: «Мне двадцать шесть лет. Мне всё еще двадцать шесть».

Няня Кости уехала к дочке в Челябинск. Долго упрашивала дочка, долго умоляла, пока не увезла си-

лой. Тосковала по Москве, по бульвару, по коммунальной квартире, каждый год приезжала, жаловалась, что всё ей там чужое, поговорить не с кем, и церкви поблизости нету. В каждый свой приезд ходила к племяннице, носила мальчику подарки. А мальчик уже женился, у мальчика уже свой мальчик, и обе женщины, как две бабушки, за ним ухаживают. Вернулся из заключения полотер, отсидел срок, помордовали его всласть, кому не лень. Выходил перед строем надзиратель — сытая рожа, пыхтел, куражился, дергал из носа волосы: «Не желали два раза в году кричать «Ура!», будете каждый день кричать «Караул!» Валили лес, грузили бревна на платформу, откатывали на свободное место, навечно складывали в штабеля. К концу срока почти до самой Ангары дошли. Бесмысленная затея. Каторжный труд. Так и стоят штабеля до сей поры с двух сторон от рельс, протянулись на километры: ближе к лагерю дерево темное, старое, неизвестно кем еще положенное, в какие года, а дальше к реке — дерево светлее, моложе. Не простые дрова — памятник отнятым годам, загубленным жизням. Воротился полотер из лагеря, худобы и прозрачности блокадной, отыскал нянину племянницу, поглядел, как они дружно живут, и тоже в колхоз попросился. Няня всё умилялась, что столько разного народу в одном месте собралось, а живут — не ссорятся, сплотились чужие люди для защиты от внешних бед и напастей. Они няню всем колхозом и на вокзал провожали, и списки ей составляли: «во здравие» и «за упокой». Сына Николку писала няня в оба списка, всё надеялась, что объявится, до самой смерти надеялась. Она умерла, и он вместе с ней умер. Дочка Лена переехала из Челябинска, никто теперь на могилку к няне не придет. Никто не проведает, никто не поплачет. Сорим могилами, граждане! Сорим родными могилами.

А в квартире родился ребенок. У циркового артиста Пети Лапушкина. Родила ему жена Тося сына, Сережку Лапушкина, родила и растолстела. Была человек-каучук, человек-змея, а стала домашняя работница, без специальности. Доволен был Петя Лапушкин своей женой, сыном и домашней жизнью. Висел под потолком, ухватившись зубами за крюк, тренировался, искоса поглядывал вниз, а внизу ползал по полу упитанный Сережка, весь в ямочках, ручки-ножки в перевязочках, и ходила, переваливаясь утицей, толстая жена Тося, поглядывала на мужа снизу вверх круглыми влюбленными глазками-вишенками. Подобрал Петя Лапушкин молодых акробатов, подучил, натренировал — мирового класса номер. В пятьдесят четвертом году в первый раз выехал за границу. Перед поездкой всю группу сводили в закрытый распределитель, приодели одинаково, проинструктировали, как за столом есть, что пить, с кем разговаривать, чтобы не уронили чести советского артиста. Напуганные примерами, собрались отъезжающие еще раз, сами, перед полетом, обсуждали возможные варианты, ждали провокаций. «Товарищи! — предложил руководитель группы. — Давайте прорепетируем выход из самолета».

Вернулся Петя домой — вся квартира собралась послушать, поглазеть на диковинные вещи. На их памяти никто за границу не ездил, и было много вопросов насчет того, как живут, что едят, много ли безработных, сильно ли загнивают и сколько они там еще продержатся. Петя долго рассказывал, и всё оказалось сложнее и проще. Сложное проще, простое — сложнее. Петя привез кучу вещей, одевался, как бог, — прохожие оглядывались, — и жена его Тося совсем потеряла голову от любви к своему мужу.

Лопатин Николай Васильевич ушел на пенсию ровно в шестьдесят. Дня не пересидел: сегодня стукнуло, завтра ушел. Тогда только приняли закон о

пенсиях, и в газетах много писали о достойных проводах. Человек всю жизнь проработал в банке, считал деньги. Сколько их через его руки прошло — не перечесть. И всегда без единой ошибки. Кого уж достойно провожать, как не его? Подарили телевизор. Сиди дома, смотри передачи, жди почтальона с деньгами. Лопатин Николай Васильевич расчувствовался, позвал сотрудников в ресторан. Все выпили, и он выпил, а так как в пьяном виде всегда говорил правду в глаза, то и тут высказал всё, что он о них думает. Кто подхалим, кто бездарь, кто выскочка, а кто не на своем месте. Скандал был грандиозный, из ресторана высказывали, будто оплеванные. Те, кто был, долго потом глаза отворачивали, а кто не был — жадно выпытывали подробности, от удовольствия потирали руки, не сомневались даже, что Лопатин Николай Васильевич нарочно всё это устроил. «Погодите, — пообещал один бухгалтер. — Я тоже позову. Я тоже выскажу. Мне даже напиваться не надо». Лопатин Николай Васильевич извиняться не пошел — было стыдно, — а телевизор перетащил к дочке Ляле, на квартиру: там внучка растет, для нее детские передачи показывают. Живет Ляля теперь отдельно, получил Веня Вдовых от завода квартиру, и Лопатин Николай Васильевич у них вместо няньки. Худой, тощий, скулы торчат, вид, как у язвенника, и редкие седые волосы дыбом.

Жена Лопатина сначала к внучке приглядывалась, присматривалась, что-то настороженно выискивала, а потом потеплела, отошла, стала обыкновенной бабушкой и даже пускала внучку в свой кабинет. Внучка — боярских кровей, и принялась учить ее жена Лопатина стихам, музыке, французскому, как учила когда-то Лялю, и страшно ревновала ее к дочке, к мужу, особенно к Вене. И осталась глубоко внутри тревога: вглядывалась глазами, высматривала, не прорвутся ли во внучке родственники Лопатина Николая Васильевича, костромские мещане, не сведут ли на нет все ее

усилия. Но душой оттаяла, дарила внучке книги, надписывала на обложке «Милой Галочке — просто так», и даже с соседями стала здороваться, а с Верой Гавриловной беседовала иной раз на кухне про беспокойные детские дела. Но когда увезли внучку на новую квартиру, ни разу у них не была. Они звали, она отказывалась. Перестали звать — злятся. Ревнует очень: выучат не так, обучат не эдак. Жесткая стала, злая. Галстуки уже не разрисовывает, и пенсия ей по ее малому стажу — мизерная. Лежит целый день в кровати, в потолок смотрит. Радио не слушает, газеты не читает: про мировые события знать ничего не желает. Раздражают ее мировые события. Читает одного Бунина, по пятому, по седьмому разу. Не готовит себе, не убирает, на кухне не появляется, а варит на плитке кофе, черноты дегтярной. Высохла, потемнела лицом, похожа на старую злую барыню. Достала из сундука старинные платья, накидки. Когда идет в булочную, подолом асфальт метет, и прохожие пальцем у лба крутят. Изредка едет на край Москвы, в Черемушки, прячется за деревьями, внучку поджидает. Увидит Лопатина за руку с девочкой, жадно глазами вопьется, ищет следов ненавистных костромских мещан, а потом бежит обратно, путается в длинном, до земли, платье. Запирается в комнате, валится на кровать, жадно курит, смотрит в потолок. Глаза сухие, блестящие. Веня Вдовых как-то приехал за ней на такси, хотел к внучке отвезти, так она ему дверь не открыла.

Отоспался Веня, отъелся, отдохнул от тех времен, когда днем работал, вечером учился, утром, до смены, с бутылочками за молоком бегал, ночью вставал, ходил с Галкой по комнате, прижимал к себе, чтобы согрелась, успокоилась, перестала плакать. Теперь кончил институт, работает мастером в цехе. Раньше девяти домой не приходит, иной раз воскресенья прихватывает. Работа нервная, дерганая: одно слово — завод. На заводе всегда так. Вроде всё спланировано,

всё рассчитано, в бумагах полный ажур, а дойдет до дела — вечный неутык.

В последние годы стал Веня поглядывать на Самарью Ямалутдинову. Он — смущенно, растерянно, она в ответ — строго, спокойно, со вниманием. Красавица Самарья: волос черный, глаз пронзительный, лицо сухое, чистое. Жила Самарья с самой войны замкнуто, неприметно, глаза в пол: не пела, не шутила, в пустые разговоры не влезала. Была у нее в жизни одна цель: дожидаться вечера, лечь пораньше в постель, зажмурить глаза в безуспешной попытке уловить ускользающие черты Рената Ямалутдинова. А Веня Вдовых всё поглядывал на нее, и она стала поглядывать. Веня всё высматривал, и она стала высматривать. Как-то летом взял он отгул, уехал за город, появился неожиданно в детском саду. Самарья даже не удивилась: отложила в сторону свои дела, повела его в поле, на речку — от бабьих глаз подальше. Случайно — не случайно, нарочно — не нарочно: набрели среди кустов на полянку. Самарья повернулась к нему, близко взглянула, опустила — будто согласилась — глаза, покорно вытянула руки вдоль тела. Веня, такой спокойный и уравновешенный, жадно мял платье, обрывал пуговицы, а она терпеливо ждала: не помогала и не мешала. Было жарко. Гудел рядом шмель. Солнце прожигало насквозь. Строгие глаза смотрели в упор. Потом она стояла на коленях в высокой траве, расчесывала волосы, держала в зубах шпильки, а Веня сидел на мшелом пне, курил, вздыхал, будто всхлипывал. Было Вене в ту пору тридцать три, было Самарье — сорок. Стал ездить к ней, когда получалось, урывал по крохам свое счастье. И засветилась Самарья, как когда-то, в счастливые довоенные годы, и засветился Веня Вдовых — впервые в жизни. Все вокруг отметили перемену, одна Ляля ничего не увидела, а может, не захотела увидеть. Вялая, флегматичная: молодая женщина с пожилыми чувствами. Всё мимо

нее идет. С таким темпераментом до ста лет проживешь. А Веня мучался, разрывался, хотел из дома уходить. Метался, ночами не спал; дочка удержала. Пришел как-то домой, принес две бутылки. Выпили они с Лопатиным Николаем Васильевичем крепко, излил он душу отцу нелюбимой жены, тот утешил его, как смог, и отрубил Веня топором свою незаконную связь. Живет теперь Веня в отдельной квартире: гарнитур чешский, занавески цветные, пол лаковый. Все вечера на кухне просиживает, в комнату не идет. Кухня чистая, светлая, уютная: огонь горит, чайник кипит, радио мурлыкает. Тоска смертная! И Самарья сразу изменилась. Была худая, черная, будто жег ее изнутри неугасимый огонь, а тут постарела, погрузнела, толстеть начала, седой волос прядью пробился. И уже не ждет вечера, не жмурит глаза по ночам: ушел от нее Ренат Ямалутдинов, навсегда растворился в плотном тумане прожитых лет.

Хаймертдинов, законный муж Самарьи, вечный жилец на дежурной раскладушке, работает последний год. Осенью идти ему на отдых, давно уже рассчитал до копейки свою пенсию и пенсию жены, но всё так же садится к обеденному столу, считает расходы за день, не перестает, неумный, удивляться, куда идут деньги, хотя мог бы давно уже понять и привыкнуть. От постоянных подсчетов развилась у него острая наблюдательность, отчего считает уже не только деньги, но всё, что ни попадется на глаза. Ступеней до их квартиры — сто двадцать четыре. Окон в доме напротив — девяносто шесть. Столбов вдоль бульвара — восемнадцать. Очень он на пенсию рвется, дни считает. «Вот уйду на пенсию, смогу иметь свое мнение». — «А на что оно тебе? — удивляются соседи. — Век без него прожил, теперь и подавно обойдешься». А Хаймертдинов упорствует, хочет иметь Хаймертдинов на закате жизни собственное мнение. Каждое лето выезжает с Самарьей в лесное Подмосковье, ест детские

кашки с провернутыми котлетками, пьет кисель, ходит в лес за грибами. В один год уродилось белых грибов невиданно — банок не хватало, чтобы солить, уксусу в магазинах не достать, — и молодые веселились, возвращаясь с полными корзинами, а старухи по деревьям печалились, что не к добру всё это, а к войне. Верная примета. Хаймертдинов слушал старух внимательно, и хоть понимал, что между войной и грибами нет и не может быть ничего общего, но в душе своей беспокоился и переживал. Бога, вон, тоже нет — безусловно и наверняка, — однако, кто Его знает. В старые годы как-то очень на Бога тянет.

Тетя Шура, Нинкина мать, в пятьдесят первом году пошла учиться, на старости лет села за парту. Трудно было поначалу, зато теперь у нее высшее профсоюзное образование, перевели тетю Шуру в горком союза. Ходит в инструкторах, гостем приезжает на родную фабрику. Отстригла коротко волосы по последней профсоюзной моде, пополнела, зачатила в парикмахерскую, дырки в ушах проделала, перестала убирать в свои дни места общего пользования, воспользовалась услугами тети Моти. Когда приезжает с курорта, с юга, загорелая и отдохнувшая, еще хоть куда тетя Шура, сто очков вперед молодым даст. Как-то приезжал ансамбль из Чёрной Африки, многие долго потом возмущались, зачем такое показывают нашему неподготовленному зрителю, потому что танцевали они нагишом, с одной повязочкой, груди у женщин совсем голые — срам да и только: все мужики пялились — и даже был парный танец, напоминавший что-то уж очень знакомое и некультурное. А тете Шуре ансамбль понравился. Она и сама в молодости огнем горела, голая на печке спала — девки удивлялись, до первого льда в речку лазила, после бани в снег ложилась — силу свою укрощала. До сих пор больше всего любит тетя Шура в кино ходить, до сих пор нравятся ей фильмы музыкальные, про любовь.

Дядя Паша, Нинкин отец, стал солидным и важным, строго и деловито руководит вверенным ему клубом, и уже не кричит, не ругается, как прежде, при виде какого нарушения, а только поднимет в изумлении бровь, огорченно вздыхает: «И это в двух шагах от Кремля...» Дядя Паша теперь интеллигент. По старой привычке носит еще френч, но зато вместо галифе — брюки в полосочку. Всё знает, обо всем слышал, но точно еще не представляет, что для чего. Знает, к примеру, что декольте — это вырез, но зачем и на каком месте — это ему пока неизвестно. В других клубах и драки, и выпивка, и легкомысленные девочки, с которыми у нас официально покончено много лет назад, а у дяди Паши — милиция, дежурные комсомольцы, весь клубный персонал начеку. Теперь разрешили современные западные танцы, и даже комитет комсомола смотрит на это поощрительно. Время такое, нельзя отставать от требований жизни.

Все растут, и дядя Паша, Нинкин отец, тоже растет в разрешаемом направлении. Висит перед клубом фанерный щит: «Сегодня занятия университета культуры. Явка строго обязательна». Первая часть объявления — примета нового. Вторая — пережитки старого. Не всё сразу. Постепенно. Одно за одним. Медленно, но идем. Идем, но очень уж медленно! Появились агитбригады, сами пишут, сами ставят, критикуют что попало, кого ни попадя. Нет, чтобы отрицательное с положительным смешивать, а они — одно отрицательное. «Не отражаете, — выговаривает дядя Паша. — Все отражают, вы не отражаете. Я, конечно, понимаю. Программа у вас сатирическая. А где афофеоз? Афофеоза нету...» А они ржут, подлецы. И закрыть их невозможно, и на сцену выпускать нельзя. Время такое. Вот и выкручивайся, как знаешь. Критикуют всё, критикуют, а для них сколько всего понаделано! В других странах трудящиеся могут только мечтать о бесплатном реквизите. Зато в танцевальном

коллективе полный порядок. Девки молодые, горячие. Закружатся — всё видать.

Теперь у дяди Паши с тетей Шурой отдельная квартира. Две комнаты. Да ушли молодые годы, прожитые в тесноте, когда Нинка сопела под боком, ворочалась беспокойно от матрацного скрипа. Спят они теперь отдельно. У тети Шуры — диван-кровать. У дяди Паши — кушетка.

Зато Нинке раздолье в отдельной квартире со своим мужем. Как восемнадцать ей стукнуло, сразу вышла Нинка замуж — дня лишнего не утерпела, — и родители были рады чрезвычайно, потому что устали волноваться и ожидать неизбежного. Пусть теперь ее муж волнуется. А муж у Нинки — учитель математики, присланный к ним в школу сразу после института. Другие учителя — старые, сутулые, блеклые, а этот веселый, здоровый, щеки-яблоки. Сразу после выпускных экзаменов вышла Нинка за него замуж, весь класс гулял на свадьбе, все девицы лопались от зависти, глядя на счастливую Нинку и на ее здоровяка-мужа, и даже тетя Шура, Нинкина мать, вздыхала тайком, вспоминая себя и свою молодость с никудышным дядей Пашей. Поселились они у свекрови: Нинка перевернула жизнь по-своему. Не квартира — проходной двор. Битком — ее однокурсники. На раскладушке всегда кто-то спал, за столом всегда кто-то ел, кому-то занимали деньги на кино, на прокорм, на штаны. Свекровь рукой на них махнула, подхватила вещички и съехала к сестре, потому что решили они выдать вдовую свекровь замуж, и всем курсом подыскивали пожилого, непьющего холостяка. Раз даже привели кого-то, так свекровь со стыда чуть не сгорела. С ее отъездом квартиру не узнать. Всё переворошили, всё вверх дном, и раз в месяц «неделя свободы»: ничего не убирать, нигде не подметать, на место ни за что не класть. Не дом — запорожская вольница. Нинкин муж — за атамана. Только насчет детей у них строго.

Решили на общем студенческом собрании, большинством голосов, что детей будут заводить после института, и Нинкин муж покорился. Кончила Нинка институт и начала по уговору рожать. Теперь у них двое детей, и третьим она беременна. Все удивляются, а она хохочет, и лишь в гости к кому придет, сразу танцев требует. Ее оба раза с танцев в роддом везли, и сейчас, наверно, повезут.

Пару раз заезжала тетя Шура в прежнюю квартиру, внучек своих показывала. Все смотрели, девочек хвалили, одна тетя Мотя на некрещенных косилась. Пошел тете Моте восьмой десяток. Точно никто не знает, сколько ей лет — точно она сама не знает, — но всё так же убирает, и моет, и бегаёт на работу, и по два раза в день в церковь, и на рынок к закрытию, чтобы остатки взять подешевле, а то и вовсе задаром. «Я шустрая. Где катом, а где и накатом». Когда делали ремонт по дому, хотели заодно и ее комнату освежить, но она воспротивилась, стеной на пороге встала. Управдом товарищ Красиков заглянул к ней и ахнул: сырость, мрак, чернота от печи с военных времен. Пригрозил, что выселит за плохое обращение с жилым фондом, напугал до смерти, заставил впустить рабочих. Побелили потолки и рамы, оштукатурили стены, накатали, как на лестничной площадке, розовой краской стандартный рисуночек. Комната посветлела, повеселела, на белом фоне иконы заиграли. Келья, да и только. Тете Моте ужас как нравится.

Софья Ароновна Экштат похоронила мать свою, Цилью Абрамовну, на еврейском кладбище, похоронила по всем законам, памятник поставила, а на нем по-еврейски написано, кто тут лежит. Ездит часто на кладбище, следит за могилой, цветы сажает, прибирает, накидываются на нее нищие, просят милостыню. Платит деньги в синагогу, чтобы молились там за Цилью Абрамовну, делает всё по религиозному закону, как полагается. Если человек всю свою жизнь верил в

Бога, он имеет право на веру и после смерти. Работает Софья Ароновна всё в той же поликлинике, по-хозяйски ходит по коридорам, невысокая, плотная, туго перехваченная халатом, с засученными рукавами, в тяжелых, на здоровенном каблуке, ботинках-копытах, и очередь страждущих от зубной боли заискивающе заглядывает ей в лицо. Дело с «врачами-убийцами» Софьи Ароновны не коснулось. Всё так же пломбировала и рвала зубы, всё так же стояла к ней очередь — больше, чем к другим, — и лишь отдельные, особо трусливые и оттого особо бдительные, пациенты опасливо косились на нерусскую ее фамилию на талончике. Теперь она не лечит зубы — только рвет, — и некоторые больные, когда уезжают из этого района, карточку в поликлинике не забирают, на обман идут, лишь бы у нее лечиться.

Манечка Экштат вышла уже замуж, сняла на стороне комнату и после свадьбы сразу переехала туда, не захотела жить в тесноте с родителями. Манечка — человек самолюбивый. Она и фамилию девичью оставила, и ни за что не допускает, чтобы муж ее, Натан Яковлевич, больше ее зарабатывал. Преподает в музыкальной школе, дает частные уроки. Если мужу прибавляют зарплату, она еще ученика берет. Через год после свадьбы Манечка родила сына, хоть и не собиралась этого делать так быстро. Ребенка назвали Дмитрий. Дима. Каждое лето возят его к бабушке, под Харьков. Как только Дима приезжает, бабушка всплескивает в отчаянии руками: «Разве ж это щечки? Разве ж это ножки и ручки?!» — и сразу начинает его откармливать. Каждое воскресенье покупаются на Привозе семь молоденьких цыплят, и каждый день Дима ест бульон с домашней лапшой, а оставшиеся цыплята, привязанные за ножки, мирно пасутся у крыльца, клюют кукурузные зерна и ждут своего часа, так что по их количеству можно определить дни недели. Шесть цыплят — понедельник, пять — вторник,

четыре — среда... Первый месяц кормежки не в счет: «В первый месяц, — объясняет бабушка, — растягиваются кишочки», — а потом Дима вдруг вскипает, как на дрожжах, набирает за лето свои килограммы, и окрестные ребята дразнят его, прыгая у забора: «Дима-жиртрест, курочку только ест!..» — на что он, закормленный цыплятами, резонно отвечает: «А какое еще мясо бывает?» Осенью Дима возвращается в Москву, сразу худеет, а следующим летом бабушка, как трудолюбивая пчела, опять принимается за работу.

Семен Михайлович Экштат, отец Манечки, теперь пенсионер. Последние до пенсии годы прожил замкнуто, молчаливо, ни на кого не обращая особого внимания. Была у него работа в аптеке и любимая коллекция экспонатов, характеризующая его, Семена Михайловича, жизнь, чего ему вполне хватало. Стали появляться новые лекарства, польские, венгерские, даже английские, и образцы каждого такого лекарства Семен Михайлович приносил домой, к себе в коллекцию, и даже были у него редкие лекарства из закрытого распределителя, которые никогда не попадали на общий прилавок. Он бы, конечно, не пошел на пенсию, но сломали дом на конце бульвара, где размещалась аптека, всех сотрудников перевели в другое место, а он не захотел. Стоял, смотрел, как подъехал кран, как здоровенным шаром на тросе разбивали стены. Дом старый, стены метровые, неделю возились, по кусочкам отламывали — бьют, бьют, бьют, пока трещина появится, — а он стоял на тротуаре и глаз не отводил. Взял кусочек кирпича в коллекцию, характеризующую его, Экштата Семена Михайловича, жизнь, в первый раз вышел из комнаты небритый, поехал в собес оформлять пенсию. Сразу сдал, одряхлел. Был поэт, композитор, ребе, а теперь просто старый еврей. Бродит по бульвару, шаркая теплыми ботинками, разговаривает сам с собой, напевает под нос: «Нет, не можем

воротиться: годы не вернуть, годы не вернуть. Что прошло, не возвратится: прошлое забудь. Что прошло, не возвратится: прошлое забудь...»

Исчез с бульвара тихий дебил Гена. Старый стал Гена, подружился с чистильщиком ботинок, который прилепился со своей будкой к дому на конце бульвара, рядом с аптекой. Когда не было клиентов, сидел у него внутри, на стуле, коленками в коленки, в теплой тесноте, и молча слушал радио. Старый, старый, весь в морщинах, мятый, будто печеный пирожок, ассириец, и немолодой уже дебил Гена. Когда приходил клиент, Гена вылезал из будки, стоял рядом, дрожал после тепла на морозе, терпеливо ждал, когда можно будет, сгибаясь в три погибели, залезть внутрь и обогреться. И опять сидели молча, слушали радио, отделенные от мира тонкими фанерными стеночками, и лишь изредка старик-чистильщик вставал, приоткрывал дверцу, кричал наружу, в пронзительный холод, сиплым, дребезжащим голосом: «Покупайте теплые стельки! Хорошие, мягкие, горячие стельки!» Работы не было, никто не хотел в мороз чистить ботинки, и стельки, наверно, имелись у всех, и так они просиживали иногда весь день вдвоем, коленками в коленки. По субботам они ходили вместе в Палашевские бани. Гена быстро с себя всё сбрасывал и ждал, переминаясь с ноги на ногу, дрожа от озноба несуразно большим, морщинистым телом, а старик неторопливо снимал, как капустные листья, одну одежду за другой, и банщики всякий раз считали вслух, сколько на нем надето штанов, рубашек и кофт. Раздевшись, старик аккуратно складывал вещи, брал Гену за руку, и они медленно шли в моечный зал, осторожно ступая по мокрому, мыльному полу. И мылись там долго, не спеша, натирая спины чуть не до крови.

Когда начали ломать дом, первым делом снесли будочку чистильщика. Гена заволновался, бегал вокруг дома и вдоль бульвара, искал старика. Сорвали

железо с крыши, кран уже разбивал стены, а он всё бегал кругом, не мог отыскать будочку, а потом вдруг появился на чердаке, между голых стропил, что-то кричал машинисту крана, грозил кулаком. Хотели везти его в лечебницу, да вовремя пришел старик-чистильщик. Взял Гену за руку, повел к себе домой. Исчез с тех пор Гена, не появляется больше в их районе, не бродит по бульвару, изумляя прохожих голубыми бретельками.

А на бульваре полно детей. Бабушки-пенсионерки со своими внуками, и кое-где гордые от исключительности своей профессии и ошалевшие от обилия предложений няньки. Дети бегают, стреляют из пластмассовых пистолетов и автоматов. Сколько времени с войны прошло, а до сих пор играют в наших и немцев. Долго теперь продержится эта игра — в наших и немцев, как весь прошлый век играли дети в наших и французов.

Их дом на бульваре опескоструили, сняли полувековую грязь. Отремонтировали парадный ход, черный, места общего пользования. Все чердаки открыли, распечатали, после длительного перерыва разрешили белье сушить. Нет теперь правительственной трассы, и «топтунов» на бульваре тоже нет. Во дворе дома снесли домоуправление, все стенгазеты — рулоны за много лет — сожгли. Управдом товарищ Красиков ушел на заслуженный отдых. Теперь управдома нет, а есть контора на сотни домов. Сносят аварийные строения, жильцов на край города переселяют, но работа эта, видно, на долгие годы. Одни арбатские переулки чего стоят!.. Гниль, старье, скученность жуткая. Тронь один такой домик — двух пятиэтажных не хватит, чтобы каждому дать по девять метров, по санитарной норме. А церковь в арбатских переулках уже отремонтировали. Блистает свежей краской, позолотой, росписью на радость тете Моте. Жена Лопатина Николая Васильевича раз туда заглянула — выскочила

обратно злая, ведьма ведьмой. Сутками из комнаты не выходила, курила, пронзительно глядела в потолок, в который раз перечитывала любимого Бунина. Вышла как-то на кухню, увидела в соседском тазу живого карпа, утащила тайком к себе в комнату и не отдала, сколько ее ни просили. Она очень привязалась к рыбе, назвала ее Манькой, и когда бегала бесконечно по комнате или лежала на диване, часто-часто восклицала: «Манька моя... Манька моя... Манька моя...», — чтобы рыба знала, что она здесь, чтобы рыба не чувствовала одиночества. Иногда она садилась на пол возле таза, опускала в воду руки и поглаживала Маньку, и беседовала с ней, и читала стихи, или просто молчала и покачивала головой, будто слушала рыбу. И больше никто ей не был нужен. Ни муж, ни дочка, ни внучка. Одна рыба Манька. Жизнь человеческая — хитрая штука. Ее, к сожалению, не разложишь по нотам, и не напишешь, как на нотах, на любой вкус: «Быстро, весело», «Оживленно», «Умеренно, неторопливо», «Медленно, с чувством» или хотя бы «В темпе вальса». Однажды вечером, когда все были дома, потянуло дымом из-под ее двери. Постучали, подергали, взломали дверь, а она сидит на полу, жгет прямо на паркете старые бумаги, а в тазу кверху брюхом плавает дохлая Манька. Позвонили Лопатину, вызвали неотложку. Врач с неотложки сделал успокаивающий укол, созвонился с психлечебницей. И опять все сидели до ночи на кухне, жались друг к другу, тихо переговаривались, ждали машину. Пришли дюжие санитары, а она кинулась на них с кулаками, зарычала: «Я графиня! У меня справка есть...» Подхватили ее под руки, быстро провели по коридору, вниз по черной лестнице, к санитарной машине. Она закричала пронзительно, на весь двор, уцепилась рукой за деревце. Санитары рванули, деревце обломилось. Запихнули в машину, уехали. До утра никто в квартире не спал. Трясло всех, как от озноба. Был человек, нет человека...

— Эй! — вскакивает Костя. — Обед проспали...

Хватаются за часы: так и есть, проспали. Бегут к проходной, торопятся проскочить вовремя, чтобы вахтер не засек, не записал опоздания.

Толя Кошёлкин делает попытку, подкатывается к секретарше, а она ключом кипит. «Я вам не курьер... Я не обязана к телефону звать...» И волком смотрит. Око за око, враг навеки. Сколько конфет надо ей теперь скормить — разоришься. С тоски закуривают ребята, ползут в курилку, а там уже полный комплект. Стоят кружком инженеры и техники, в мирной беседе пищу переваривают, выкуривают свою законную, послеобеденную. Сбегали в столовую, пообедали, постучали в «козла», со звонком пошли в курилку. Не первый год стучат, подобрались постоянные составы и часто остаются после работы. Домой идти неохота, дома теснота и скучные обязанности, а тут по вечерам тихо, просторно, все свои. Так давно играют, что переиграли уже, наверно, все варианты. Как в анекдоте про пожарных: размешали, взглянули на кости и без игры говорят: «На вас двадцать четыре», «С нас девятнадцать», «Рыба».

Стоят инженеры и техники, небогатый народ, и настроение у всех веселое. Сегодня зарплата, сегодня квартальная премия, и по сему случаю после обеда уже не работа. Пока получишь деньги, пока перекуришь, туда-сюда, то да се — а там и звонок. Сговариваются махнуть в «Загородный»: водочка с огурчиками, салатик с майонезиком, традиционный шашлык с премии. А пока, в предвкушении, затевается увлекательный разговор, кто бы что стал делать за оклад в три тысячи. Поклоны бить, дерьмо возить, на смерть стоять. Старый разговор, многолетний, постоянно волнующий...

Вдруг слух прошел: секретарша за деньгами ушла. Ребята выскакивают из курилки: точно, ушла! А следом за ней начальник по коридору бежит. Раз бежит, значит директор вызывает. К директору он всегда спешит, боится опоздать, хоть и вредно бегать для его здоровья. Очень печальная картина: бежит по территории завода пожилой человек, прижимает к груди папку с чертежами, задыхается, кашляет на бегу. Директора боятся все. Бывший токарь, бывший мастер, бывший начальник цеха, он держит завод в кулаке — и со всеми подчиненными разговаривает только на «ты». «Если каждого на «вы» называть, план никогда не выполним. План на «вы» не выполняют». К директору все бегом, а к главному инженеру — шагом. Главный тоже кричит, да у него крик не тот. Он покричит-покричит и отойдет, а директор гаркнет раз и привет: оргвыводы. Директора боятся все, главного инженера — никто. Опытные люди уверяют, что так везде. Один сильный, другой слабый. То ли сильный не хочет при себе сильного держать, то ли не так много их у нас, сильных, чтобы густо было. А может, это природа такое предохранение устроила: ежели кругом полно будет сильных, куда же нам, слабым, деваться?

Ребята бегут к телефону, Саша Терновский дрожащей рукой набирает номер. Есть! Кадровик на месте. «С вас причитается. Можете переходить». — «Правда?!..» — «Стану я врать... Вас троих на тысячу пятьсот, Колчину — на тысячу двести». — «Это еще почему?» — «А потому...» Больно надо ему объяснять. Колчина — женщина, работник не аховый: пойдут декреты, бюллетени по уходу за ребенком, то-се, фокусы разные, а потом он еще справки наводил, говорят, что самодеятельностью увлекалась, на сцене выкомаривала... Да ну ее! У него не театр, не опера-балет. «Согласны?» — «Не согласны!» — «А вы подумайте, подумайте, — искушает кадровик. — Тысяча пятьсот на улице не валяется. У меня у самого — меньше». —

«Всем одинаково, — режет Саша. — Тогда пойдём». — «Хе-хе... Можно и одинаково. Всем, как ей». — «Всё! Не сговорились». — «Стал бы я уговаривать... — обижается кадровик. — Люди позарез нужны». — «Вот и берите». — «Нет». — «Нет — не надо».

Саша тихонько кладет трубку, поворачивается к остальным.

— Ну?!

— Дайте закурить.

— Чего он сказал?

— Закурить дайте!..

Поднимаются по лестнице к чердачной двери, забиваются в темный угол, садятся на любимую батарею, синий дым мягкими волнами бьется о стены. Всё. Круг замкнулся. С чего начали, тем и кончили.

Как бедному жениться, так ночь коротка.

11

— Ну, дела... Обхохочешься.

— Кисло, мужики. А что делать?

— Да какое он имеет право!..

— Имеет.

— Вот гад! Будто открыли тебе душу, плюнули и опять закрыли.

Все говорят сразу, на Риту не смотрят. Им неловко, а ей — вдвойне. Ей обидно, а им — тем более. Ведь можно уже уходить! Можно — и нельзя.

— Ну, мужики, чего делать будем?

— А что тут поделаешь? Пока было можно, мы шли.

— Надо другое место искать.

— Искать надо, а где его найдешь?

Саше неудобно. Не посоветовался, решил за всех, может, они бы и не отказались... А если ей и в другом месте меньше дадут, что же им, до пенсии тут сидеть?

— Знаете, мальчики, пойду-ка я на тысячу двести. Всё равно больше, чем здесь.

— Перестань!

— Он на это и рассчитывает.

— Еще позвонит, сам предложит. Им люди позарез нужны.

— Люди им, может, и нужны, да только не я.

— Ладно прибуднятся-то... Себя не похвалишь — никто не похвалит.

Толя — неудачник. Ему всегда не везет, но это редкий случай, когда страдают не от него, а он от других. Всё так перемешалось на белом свете — не поймешь теперь, кто от кого страдает.

— Звоните, мальчики. Звоните, пока не поздно.

— Я пас.

— Я тоже.

— А я и звонить-то не умею...

Вдруг, снизу крик:

— Эй, вы!.. К телефону!

— Кого?

— Любого.

— Ну! — захлебывается Саша. — Ну!.. Сейчас он у нас на коленках поползает...

Кубарем вниз, бегом по залу: весь отдел смотрит, а им наплевать... «Алло!» — «Надумали?» — спрашивает кадровик. «Кто? Мы?» — «Нет, я... Мне думать нечего». — «Нам тоже». — «Как знаете... Но через неделю у нас будет под завязку». И тут голос в трубке: «Я согласна. Это Рита. Из кабинета директора, по параллельному телефону. «Вы слышите? Я согласна». — «Ну и чудненько. Категорически одобряю. Подавайте заявления».

Вот и всё. Вот и свершилось. Остался, конечно, осадок, но осадок пройдет. Достают сигареты, закуривают, в глаза друг другу не смотрят. Сбоку на стуле робко примостился парень, чистенький, отутюженный,

с блестящим институтским значком. Не иначе, мама на работу собирала.

— Новенький?

— Новенький.

— Специалист?

— Вроде бы.

— По распределению?

— Ага. А вы что, уходите?

— Уходим, дорогой, уходим.

— А почему?

Смотрят молодые инженеры и улыбаются. Улыбаются и хохочут. Хлопают по спине, ржут от восторга, всхлипывают до слез. Нервный припадок. Скоро пройдет. А впереди перемены. Впереди новые и лучшие времена. Как будто до этого ничего и не было. Как будто была не жизнь, а предисловие к ней. Длинное, затянувшееся предисловие, которое, наконец-то, позади, и жизнь, прекрасная жизнь ждет их на следующей странице.

Четыре молодых инженера за одним столом дружно пишут заявления об уходе.

Надежда — хороший завтрак, но плохой ужин.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

- Ты готов?
- Я готов.
- Побежали...

Сто сорок четыре ступеньки: через две — через две — через три; бегом к остановке: автобус отходит — отходит — отходит; лестница вниз — подземный переход — переход — переход — лестница вверх; горохом по эскалатору — «Стойте справа, проходите слева»: справа идут, слева бегут; броском в вагон — по ногам — по ногам — по ногам: «Куда прете? Дайте сойти... Дайте сойти! Дайте...»; из вагона на переход: два эскалатора вниз — один вверх: когда надо вверх, они вниз, когда надо вниз, они вверх; с перехода снова в вагон: по ногам — по ногам — по ногам: там ты, тут тебе; из вагона снова на эскалатор: два вниз — один вверх: закон максимальной подлости: там тебе и тут тебе — враг тот, кого мы толкаем в спину, и тот, кто толкает в спину нас, с эскалатора на трамвай: стоим на остановке, от нетерпения перебираем ногами: «Ну, где же он? Где же он? Где?..»; с трамвая бегом — сомкнутыми колоннами — колоннами — колоннами: шаг в шаг — вдох-выдох — вдох-выдох, — мелкими, жадными глотками, — выдох — выдох — выдох — вдох; дверь в проходной: тах! — трах! — еще — еще — чаще — чаще — чаще — барабанная дробь — смертельный номер под куполом: стук обрывается — двери настезь — непрерывный поток; турникеты крыльчатками насосов сосут — сосут — сосут людей: утром туда, вечером обратно — туда-обратно — туда-обратно — туда-обратно: «Дай ответ... Не

дает ответа!» Гипнотизеры теряют квалификацию: не выходит, не получается, не засыпают: человек сидит, а внутри всё бежит; экскурсоводы сбиваются с ног: «Слева Манé, справа Монé, слева Ван-Дейк, справа Ван-Гог, слева импрессионизм, справа натурализм, впереди реализм, позади абстракционизм»: не дожили классики до такого издевательства, не добежали; катки для трамбовки асфальта простаивают: не идут шоферы, не нанимаются — кто может выдержать такие скорости? никто уже не может; бегуны — а не бегуны? — опрокинули физиологию: человек-жираф, человек-страус, человек-гепард, «Человек — это звучит гордо!»; кофе двойными порциями, чтобы подтолкнуть, чтобы подстегнуть, угнаться и не отстать: растворимое, моментально растворимое, Бразилия может спать спокойно: мы не подведем, мы всё выпьем; чай кружками, полпачки на заварку, зарядка на день: индийский, грузинский, цейлонский — в кучу, для крепости — гонка за лидером, гонка за самим собой; утром — кофеин, вечером — андаксин, триоксазин, димедрол, элениум: к ночи, на сон грядущий, чтобы из сверхвозбужденного состояния перейти в обычное, возбужденное; нервные клетки не восстанавливаются — люди обратно не возвращаются («Все умирают и умирают... Хоть бы кто-нибудь когда-нибудь воскрес!») — станции Отрадная, Немчиновка и Баковка поезд проследует без остановок — тронутое руками считается купленным — «Если вы потеряли друг друга, встречайтесь в центре ГУМа, у фонтана» — «Наука и техника дошли до невозможного» (Год 1927-й, из высказываний) — «У нас в Харькове строят подземный переход, и мы тоже скоро будем иметь эту жизнь» — туда-обратно — туда-обратно — туда-обратно — утром туда, вечером обратно — колоннами — колоннами — сомкнутыми колоннами («Послушайте». — «Отстань». — «Ну, послушайте...» — «Некогда». — «Я вас прошу...» — «Отстань, кому сказано!» —

«Пожалуйста! Кто-нибудь!...») — а насосы сосут и сосут, а в колоннах бегут и бегут, чтобы однажды вынырнуть из толпы, отдышаться, обалдело завертеть головой: «Какое у нас сегодня число? Год какой?» — и опять нырнуть на несколько лет...

Вдруг, шум... вой сирены... визг тормозов...

Шприц...

Битое стекло в ватке...

Развороченная постель...

Одеяло на полу...

Невыносимо тоскливый, душный запах лекарств...

И вот уже из окна дома смотрит на улицу больной. Пристально. Не мигая. Мудро и отстраненно. Болезнь — это остановка с разбега, это удар о стену. Машина уже лежит, но колеса еще крутятся...

— Хоботков?

— Да-да.

— Константин Сергеевич?

— Он самый.

— Что с вами?

— Ничего. Спасибо. Теперь лучше.

— Поправляетесь?

— Пытаюсь.

— Получается?

— Не очень.

— Возрастное?

— Ну, что вы...

— Хроническое?

— Наверно.

— Чем лечитесь?

— Думаю. Учусь думать.

Каждый год в конце декабря к нам приходит завхоз и выдает новый, перехваченный цветной бандеролькой настольный календарь. Мы разрываем бандерольку, берем в руки год непрожитого еще времени,

и его вещественность потрясает, выбивает из привычного ритма привычных мыслей, и облачко неделового раздумья набегаёт на лицо. Пауза. Короткая пауза. А потом мы выбрасываем старый календарь, вставляем новый и перекладываем справа налево первый листок. И всё. И конец. Стоит только начать. Из вагона на переход — с эскалатора в трамвай — с трамвая бегом — лестница наверх — лестница вниз — по ногам — по ногам — по ногам... Это как двадцать второе июня, когда день начинает уменьшаться. Ещё впереди все лето, впереди земляника, грибы и яблоки, купание и отпуск, но день уже короче и зима ближе. Сомкнутыми колоннами — колоннами — колоннами — шаг в шаг — вдох-выдох — выдох — выдох — выдох — выдох — выдох... И так до конца декабря, когда приходит завхоз — распорядитель времени, выдает очередные триста шестьдесят пять талонов на жизнь, и облачко неделового раздумья набегаёт на лицо. Остановка. Тайм-аут. Привычные мысли спотыкаются на укатанных извилинах. Свисток. Побежали дальше. Дальше — дальше — дальше... Куда? В какую сторону? Думать некогда. Задумаешься — отстанешь. Но все-таки куда же? Дальше!

И у тяжелой, продолжительной болезни есть свои преимущества. Сломан привычный распорядок, сбит навязанный темп, и взамен будничных мыслей-рефлексов всплывают на поверхность глубинные. Вялые, лениво-неприкаянные, заторможенные поначалу, тычутся куда попало, как слепые котята в поисках теплого и привычного брюха матери-кошки. Но вот что-то шевельнулось в глубине, нехотя оторвалось от топкого дна, покачалось в нерешительности и пошло, разгоняясь, наверх — верткая, бесформенная громадина, — и трудно предположить, что выскочит на поверхность: шустрый пузырь болотного газа или здоровенное, в два обхвата, осклизлое, в водорослях, бревно,

которое стоймя подпрыгнет над поверхностью и взбаламутит цветущую ряску...

Саша Терновский сидит в белом накрахмаленном халате за новеньким немецким кульманом, нога на ногу, брюки аккуратно поддернуты, руки сцеплены на коленях, в зубах зажат «кохинор». Саша думает. На стене рядом с ним портрет Эйнштейна с высунутым языком, фото загрязненной нефтью реки с табличкой на берегу «У воды курить воспрещается», кусок истоненной, ржавой подковы. Поверх всего тушью по узкому ватману: «И этот тоже учит!» Когда Сашу отрывают от размышлений, он демонстративно поворачивается к стене и долго читает по складам: «И этот... т-о — то...ж-е — же... то-же у-чит...» Саша — человек гордый и замкнутый. В чужие дела не лезет, в свои — не пускает. Друзей нет — одни знакомые. Врагов тоже нет. Врагов иметь — только себя унижать: такие враги нынче пошли. Фамильярности не терпит, анекдоты не рассказывает, с каждым на «вы» — отстаивает свою независимость. Даже в мелочах. Главное — в мелочах. В мелочах наша независимость. Уже много лет он уходит с работы точно по звонку. Раньше нельзя — будут придирааться, требовать унижительных оправданий, позже тоже нельзя — разбалуешь начальство, и ему захочется, чтобы ты оставался по вечерам на работе. Начальство надо воспитывать, и Саша делает это постоянно, и есть уже результаты. Он работает в перспективной группе, начинает конструирование с нуля, облекает бесплодные идеи в конкретные формы. Смахнет пыль с доски, наколает чистый лист ватмана, проведет по нему рукой, погладит, а потом садится, думает.

Сашу Терновского понапрасну не беспокоят, думать не мешают. Сам Главный уважает его за конструкторский вкус, за инженерную храбрость, за умение понимать с полуслова и мыслить вслух. Не всякому

это дано, не каждый на такое решится. Когда Сашин начальник идет к Главному, то берет с собой целую свиту. Главный обрушивает на них каскад мыслей, предположений и гипотез, а они не переспрашивают, стараются только запомнить, а потом долго и мучительно разгадывают, какой тайный смысл вложил Главный в свои слова, чтобы угадать, в каком направлении двигаться дальше. И ощущение того, что они что-то позабыли или не так поняли, не покидает их, и если бы было можно, они брали бы с собой стенографистку. А Главный, может, просто делится своими мыслями, может, метод у него такой: в споре найти лучшее, но его метод не каждому под силу. Уж лучше бы он дал указание. Любое. Самое сложное. Тысяча указаний легче одной гипотезы.

Саша Терновский разговаривает с Главным на равных. Если не согласен, он спорит. Если ошибается, не думает о том, какое это произведет впечатление. Ему уже предлагали повышение, но он пока отказался. «Я не хочу быть начальником. Я хочу быть подчиненным у хорошего начальника». Приходит на работу, надевает белый накрахмаленный халат, садится за немецкий кульман, нога на ногу, брюки поддернуты, руки сцеплены на коленях, в зубах зажат «кохинор». У начальства — план, беготня, текучка, а здесь — размышления над чистым листом ватмана, когда не поймешь со стороны, о чем же он, собственно, думает.

Рита Колчина вышла замуж в двадцать восемь лет. Иллюзий давно уже не было, а просто подошел возраст, когда надо было торопиться устраивать жизнь. Она вышла за Сашу Терновского, без любви, без особой привязанности — он предложил, она согласилась, — и с той поры они всегда были вместе: вместе шли на работу, вместе обедали в столовой, вместе возвращались домой. Всё вместе и всё в от-

дельности. Замужество ничего не изменило: работала также вяло и без интереса, равнодушно чертила постылые кронштейны — ни уму, ни сердцу эти железки, — и даже близость с мужчиной взволновала ее меньше, чем она ожидала. Темпераментная на сцене — этим она когда-то гордилась, — она оказалась холодной в жизни, и это ее оскорбило, унизило, заставило искать причины вне себя. И Саша Терновский, который не знал других женщин, не мог, даже если бы захотел, опровергнуть ее предположения.

Беременность ее шокировала. Привыкнув смотреть на себя со стороны, глазами других людей, она возненавидела Сашу Терновского, из-за которого стала толстой, неуклюжей и смешной, которому было хорошо, когда ей было плохо, который не мучался, когда мучалась она. Она ушла в декрет, родила дочку и на работу больше не вернулась. Устроилась в маленькую контору, рядом с домом. На той работе были сложные инженерные проблемы, были однокурсники, продвинувшиеся по службе, был муж, умница, светлая голова, который только подчеркивал ее неспособность к технике, а здесь, на новом месте — чужие, различные ей люди и маленькие проблемы, которые можно презирать даже в том случае, если ты с ними не справляешься. Там хорошо, где нас нет. Более того: там, где нас нет — так же, как и у нас. А это уже позиция. С этим уже можно жить. Есть, пить, спать, смотреть на себя со стороны...

Саша Терновский после работы гуляет с дочкой. Стоит во дворе, книжку читает, а дочка возле его ног возится. Она отойдет в сторону, и он отойдет, а глаза в книжке. После гуляния накормит ее, сказку расскажет, спать уложит. Дочка спит, Рита спит, а он сидит на кухне до ночи, чай пьет, книгу читает, тишину слушает. В квартире тихо, на улице тихо. Голова чистая, ясная, всё под силу. Спать обидно ложиться. А думать — если по-серьезному, — не о чем. Мозги не загружены.

Порожняк. Где сложные проблемы, где яростные споры, где столкновения идей, позиций, мировоззрений? Всё давно решено, всё подписано. Саше Терновскому делать нечего. Саша может ложиться спать. В театр они не ходят: Рита не любит на актеров смотреть, рану бередить, в гости они тоже не ходят: Саша не получает удовольствия от коллективного веселья. И потом, в гостях надо пить, а у него организм водку не принимает. Как заяц, петляет между рюмками под дулами настойчивых приглашений. «Не люблю я...» — «А кто ее любит?» — «Противно...» — «Он думает, нам приятно». Иногда Саша ездит к матери, на старую свою квартиру, запирается в фотолаборатории, включает допотопный проигрыватель, разглядывает сотни портретов с нерезким изображением молодого Саши Терновского. Подрок в квартире соседский парень, не поленился — подрисовал ко всем лицам чернильные усы. Идиотская работоспособность. Неделю, не меньше, старался. Смотрит Саша на свои изображения — всё не в фокусе, одни усы в фокусе, — музыку слушает, размышляет в оцепенении...

Толя Кошёлкин умирал в своей жизни много раз: несерьезно, несолидно и ненасовсем. Альпинизм, гонки на скутерах, акваланг, даже туризм — делали свое дело, и если бы он увлекся безобидными шахматами или собиранием спичечных этикеток, неизвестно, к чему бы это привело. Каждый раз после очередной катастрофы врачи удивлялись, почему он остался в живых, и каждый раз он увлекался заново, чтобы снова умереть и снова удивить врачей. «Чего ты добиваешься? Ну чего?!» — «Я не добиваюсь. Это я так живу». Он был неудачник, хронический неудачник, клад для окружающих, находка среди однообразия жизни, потому что неудачи с ним случались часто и все они были веселого свойства. Люди хохотали,

когда он умирал, и за это его любили и совсем не жалели. В отличие от хмурых, тоскливых неудачников, которых жалеют, но не любят, от которых отворачиваются, чтобы не видеть, от которых откупаются, чтобы не щемила совесть.

Толя Кошёлкин умирал в своей жизни много раз, и никогда это не было связано с его профессией, пока, наконец, его работа не совпала с его увлечением. Он перешел в отдел испытаний, ездил на полигоны, сам снаряжал, сам проверял, сам испытывал, лазил во все дыры: редкое чутье на неполадки. Ведущий инженер, практик-испытатель, вся жизнь в командировках. Жил в гостинице, вкалывал на площадках, жрал по-быстрому в «рыгаловке» — лишь бы погорячее, — вечерами слонялся по этажам, играл в карты, зевал у телевизора, а по субботам залезал вместе со всеми в грузовик, ехали с ночевкой на речку, привозили полный кузов раков. В воскресенье шли в город, гуляли по главной улице. Заходили на базар, в универмаг, в магазин «Книги»: вот и все развлечения. В гастрономе мужчины безнадежно спрашивали дефицитную водку, и когда ее наконец привозили, когда везли с железнодорожной станции, за грузовиком бежала очередь, серьезно, сосредоточенно, в строгом порядке, вырастая на ходу, потому что заранее было неизвестно, в какой магазин ее повезут. В понедельник утром технари собирались в курилке, дышали друг на друга сложным перегаром, угадывали, кто что пил. «Кармен?» — «Не-а...» — «Огни Москвы?» — «Не-а...» — «Жасмин?» — «Точно!».

Толя Кошёлкин женился неожиданно, почти мгновенно, в один из своих приездов в Москву. В городе была эпидемия гриппа, врачей не хватало, и к нему прислали студентку с последнего курса. «Доктор, — сразу предложил Толя. — Пойдемте в кино». — «Вы больной. Вам надо лежать». — «Доктор, посидите со мной. Я опасно больной». — «Ничего страшного.

Аспирин три раза в день». — «Аспирин... — передразнил Толя. — И это называется женщина». Она фыркнула, засмеялась весело, заливисто, закинув голову, и Толина судьба была решена. Он провожал ее домой, за Окружную дорогу, к чёрту на кулички — «Красивые девушки не должны так далеко жить», — а под утро, чуть живой, постанывая от усталости, шлепал по пустынному шоссе, голосовал редким машинам, радостно и счастливо пел глупую песню: «Чок-чок, пятачок, шагай Толя-дурачок... Где твоя невеста? Во что она одета? Как ее зовут? Откуда привезут? И зачем тебе всё это надо?..» Через неделю его подкараулили местные ребята и прилично избили, и били потом пару ночей подряд. Всё шло нормально, по неписанным законам хронического неудачника — увлечение, как обычно, вело Толю к неминуемой гибели, — и тогда он уговорил свою красавицу, уговорил ее родителей, и ночью, когда его опять собрались бить, показал местным ребятам новенький талон в магазин для новобрачных. Многие предрекали, что и это его увлечение кончится плохо — просто временная задержка, — но оно плохо не кончилось, а может быть, не успело. Толя приезжал с полигона веселый, возбужденный, вместе с женой ходил по гостям, врывался, тормошил, переворачивал по-своему, не стесняясь, при всех обнимал жену, жадно целовал. «Перестань, — говорили ему. — Потерпи до дома». — «Некогда, ребятушки, некогда! Наверстываем упущенное. Жизнь свою наверстываем». Когда они уходили домой, стремительно, без предупреждения — вот они были, а вот их уже нет, — у оставшихся появлялось такое ощущение, будто зазвенела внутри давно умолкшая струна, звенела тонко, тоскливо, завистливо, не могла успокоиться. «Уезжайте! Плюньте на всё и уезжайте! Спасибо скажете, когда вернетесь».

На полигоне Толя Кошёлкин умер в последний раз. Умер глупо, обидно, по небрежности одного из

равнодушных ко всему на свете технарей. Кто-то понадеялся на авось, как часто надеялись до этого: авось сойдет, авось проскочит, авось обойдется, лишь бы заработало сейчас, в сию минуту, а потом переделаем, потом сработаем на совесть, как надо, но «потом» всегда остается на потом, а «авось» срывает неожиданно, бомбой замедленного действия.

В последний раз Толя Кошёлкин умер просто, буднично, невесело и насовсем. Долго никто не верил, даже после похорон, долго всем казалось, что опять он лежит в больнице, скоро выйдет и можно будет всласть посмеяться над его очередной неудачей. После него осталась жена, но детей после него не осталось. Такие люди не должны умирать. Не так богато мы живем, чтобы разбрасываться такими людьми. А если они умирают, кто-то должен остаться взамен. Чтобы было над кем посмеяться, чтобы поблекли наши неудачи на чужом фоне, чтобы радоваться своей — кто бы мог подумать?! — счастливой доле... Толя Кошёлкин умер, и никого после себя не оставил.

Его портрет лежит у меня на столе под стеклом. Молодой, радостный, полный сил. Когда мне плохо, когда мне очень плохо, когда скверно на душе и ничего не получается, когда нет возможности сделать так, как хочешь, и доказать то, что хочешь, когда натыкаешься на непробиваемую бездушную стену, когда обижен и чувствуешь несправедливость, когда тупые, сальные рыла рядами заслоняют горизонт, когда привычная тоска холодной лапой грубо сжимает сердце, я смотрю на этот портрет и вслух — обязательно вслух, иначе не поможет — говорю сам себе: «Всё в порядке. Всё в полном порядке! Мне хорошо. Мне очень хорошо. Просто великолепно. Мне лучше, чем ему...»

Где ты, мой милый, мой застенчивый друг? Куда ты уходишь, куда ты ушел от меня? Сгладились черты твоего лица, стерлись очертания фигуры, и только

неясный силуэт проглядывает на дороге: ты ли это удаляешься от меня или приближается ко мне кто-то другой? С годами я становлюсь дальнорюким, но вижу тебя всё хуже и хуже: какие для этого нужны очки, какие увеличения? А ведь когда-то мы были с тобой одно целое, единый организм: твой вдох — мой вдох, твой выдох — мой выдох, но я не уловил момента, когда ты отделился от меня и встал рядом, я этого просто не заметил, потому что мне было некогда, потому что я спешил. И поначалу казалось, это я уйду от тебя, это я бегу куда-то, куда надо и куда стоит бежать. Не только я — все бежали, толкая друг друга в спины, толкая в спину самих себя, а ты стоял на месте и смотрел вслед. Ты стоял не один: вас было много, потому что нас было много. Вы смотрели нам вслед и молчали. Только губы беззвучно шевелились. А может, мы не слышали ваших слов: бежишь-шумишь, шум — это доказательство, шум — это оправдание, шум — это цель. Не шумит тот, кто ничего не делает. И бежать без тебя было легче, спокойнее, иногда выгоднее. А потом вместо тебя пришли другие — мой вдох — их вдох, мой выдох — их выдох, — и я опять не уловил момента, когда они заняли твое пустующее место. Природа не терпит пустоты, — так нас учили в детстве, — и если от тебя ушел застенчивый, его место займет хам, если ты прогнал доброго, ты принял злого, и вместо честного человека жди проходимца... Орда. Дикая орда. Топчем самих себя. Это страшно: мы под копытами. И незаметно: копыта — это мы.

Где ты, мой милый, мой застенчивый друг? Куда ты уходишь, куда ты ушел от меня? Было время — ты свистел у меня под окнами, и я знал, что это идешь ты. Я давно уже не слышу знакомого свиста, я давно уже не знаю, что с тобой. Я забыл твой голос, твое лицо, твою походку. У меня мало твоих фотографий — ты не любил сниматься, — да и что может сказать

фотография? Я беру в руки лист глянцевой бумаги. Я вглядываюсь в чужое лицо. Я ищу в нем себя и не нахожу. Я — это он. Но он — это не я. Куда девались прежние мысли, чувства, побуждения? Вот они были, а вот их нет. Пропали, растворились постепенно, безо всяких усилий. Колоннами — колоннами — стройными колоннами... Под общим наркозом. Бежишь — шумишь... Шумишь — бежишь... Как банально мы умираем! Как банально — просто жуть! И трубы не трубят, и знамена не склоняют, и орудия не салютуют... Во мне ничего не осталось от тебя. Только тоска. Тоска по тебе. Тоска по себе. Где ты?.. Где ты, мой милый?.. мой застенчивый?.. мой друг?.. Куда ты уходишь?.. куда ты ушёл... куда?.. Воздуху! Воз...ду...ху...

Окно настезь...

Улица в комнату...

Броском в вагон — из вагона на переход — с эскалатора в трамвай — с трамвая бегом — шаг в шаг — вдох-выдох — выдох — выдох — выдох — выдох — выдох — выдох — вы-дох...вы...вы...вы...Вдох!

— Скорая?! Скорее!..

— Фамилия?

— Хоботков.

— Имя, отчество?

— Константин Сергеевич.

— Возраст?

— Тридцать шесть.

— Ждите машину.

Далеко внизу, на фоне зеленых беспорядочных пятен земли летели куда-то белые черточки — птицы. Самолет их настиг и обогнал, и сверху казалось, будто птицы улетают от нас хвостами вперед. Потом они врезались в облака, подсвеченные солнцем, на мгновение вспыхнули нестерпимо розовым светом и исчез-

ли, будто сгорели. А когда остались позади завалы облаков, по светлому еще небу свободно и вольно поплыли в сторону заката розовые гуси. Огромные, легкие, перистые... Каждый в полнеба. Я улетаю от них или они улетаю от меня?..

Где-то там, позади, остался лес, лапчатый и мохнатый, блестящая на солнце лыжня с дырками от палок, нестерпимая резь в глазах, холодок в горле, будто непрерывно пьешь зимнюю, студеную воду, пьешь и никак не напьешься. С ходу сошел с лыжни, зарылся в снег, и высоко, дурашливо вскидывая ноги, вбежал в березнячок. Кричал. Глупо махал руками. Петлял между березками. Хрустел желтоватым, льдинистомломким настом. Истоптал весь, запыхался, раскинул руки, плашмя упал в рыхлый, рассыпчатый снег, зарылся лицом, затих. Лежал неподвижно, перед открытыми в снегу глазами плясали серебряные иглы, сразу же занемел лоб и скулы, и холодок из горла ушел глубоко, внутрь. Потом встал и, не отряхиваясь, ушел по бесконечной лыжне, а на снегу остался лежать человек с раскинутыми руками, буква Т, знак разрешаемой посадки. Я оглядываюсь назад и вижу его до сих пор. Это было давно, но это осталось где-то рядом, поблизости. Стоит только протянуть руку, и ты до него дотронешься. Стоит только позвать, и ты услышишь ответ. Как приглушенный крик восторга, как далекое эхо, как умирающий над беспредельными просторами звук...

После меня остается черная, залитая водой полоса асфальта, вскипающие от дождя лужи, захлебывающиеся водостоки, гремящий, подпрыгивающий на скорости грузовик. Мы сидели на дне кузова, прижавшись к кабине, коленями в подбородок, и косой срез дождя шел от верха кабины до наших ног. Кругом — сверху, снизу, с боков — ревела и рокотала вода, а мы — чудом сухие — сидели как бы в шалаше с пока-

той крышей, а крышей шалаша был дождь и стенами — тоже дождь. Грузовик шел на предельной скорости, от колес заворачивались буруны, и когда он притормаживал, покатавая крыша дождя уменьшала свой наклон и неумолимо приближалась к нашим ногам, а с боков срывались злые струи и резко хлестали по лицу. От Сокола до Белорусского вокзала летели мы, сухие, в сплошных потоках воды и грохота, под жгутами молний, сердце замирало в азарте, красный, яростный, циклопий глаз светофора мгновенно добрел и пропускал без остановок — остановка — смерть, — а мы хохотали, тесно прижавшись друг к другу, слившись воедино, чужие, незнакомые до дождя люди. Ее волосы падали мне на лицо, ее глаза были около моих глаз, ее платье, будто она сама, билось и трепетало на ветру, и стены шалаша неумолимо надвигались на нас. За Белорусским вокзалом мы вырвались из-под тучи, грузовик сразу же встал, и шофер хрипло и возбужденно заорал из окошка: «Живы, голубчики?!» Живы, живы, еще как живы!..

Мы прибежали на пляж, быстро, наперегонки, раздевались, в азарте кидались в воду, задыхаясь,плыли к буйкам. Я подныривал, переворачивался на спину, смотрел снизу вверх на легкий, колеблющийся силуэт, на солнечные блики вокруг призрачного тела, на цветные пятна купальника. Раскидывал руки и медленно, не отрывая глаз — будто во сне, — опускался вниз, на дно. Потом всплывал, обхватывал под водой ее ноги, прижимался лицом, и грудь разрывалась от пронзительной радости или от нехватки воздуха...

Обратно ехали в поезде. Выбегали на каждой станции, покупали пироги, арбузы, цыплят, торопливо глотали в станционных буфетах горячий, огненно-красный борщ, набивали в карманы огурцы, помидоры, яблоки, бежали за вагоном, прыгали на ходу. И

всю дорогу до Москвы ели, ели, ели... Сосед по купе, не старый еще, тощий, унылый язвенник, человек без аппетита, с вечным привкусом во рту от торопливых обедов и беспорядочных пьянок, с тоскливым раздражением смотрел на это азартное буйство молодых, здоровых желудков.

Не дай Бог потерять аппетит!

Не дай Бог...

Прежде всего появляется озабоченность. Ты еще веселый, но озабоченно-веселый. Ты еще жизнерадостный, но озабоченно-жизнерадостный. Ты еще легкомысленно-молодой, но у тебя уже стареют глаза. Прежде всего — глаза. Потом — остальное.

Это случается незаметно.

Как облысение. Как омертвление клеток. Вялость мысли. Дряблость кожи и желаний.

И вот ты уже разучился радоваться успехам друзей. И встречать день с неясной надеждой. И улыбаться в ответ на чью-то улыбку. И сожалеть о неосуществимом. И шелухой отбрасывать несущественное.

И вот ты уже перестал доверять. По-детски, неоглядно.

И вот тебе уже не хочется искупаться ночью в реке. И пробежаться босиком по рассветной луговой траве. И по вечерам, лежа в кровати, ты не произносишь речи. И не летаешь во сне. Так, подскакиваешь помаленьку. И давно уже не завидуешь птицам. Когда птица спит, она накрывается крылом. Сверху крыло, снизу крыло, а в середине птица. Как в ладошках. Как в детстве. И снятся легкие, прозрачные сны.

И вот ты уже разучился сопереживать. Не ты один: мы все разучились. Не тронутые чужой бедой, не обласканные чужим сочувствием. Холодные, равнодушно пустые импотенты. Одни собаки еще сопере-

живают. Одни только собаки. И хорошо, если мы веселы: собака развеселит нас еще больше. Но если мы грустны, можно застрелиться под ее сочувствующим печальным глазом. Можно просто застрелиться! Или застрелить собаку.

И вот ты уже подвел итог, во всем разобрался и загодя стал готовиться к зиме, укреплять тылы. И это в тридцать шесть своих лет! Так деревенские с лета еще готовят дрова, засыпают картошку в подпол, квасят капусту. А мы-то, мы, в наши молодые тридцать шесть! Когда силы еще не растрочены, время не утеряно, дела не переделаны... Не мешайте нам. Мы уже готовимся. К долгой зиме.

— Значит, всё?

— Всё.

Я ухожу в себя, в квартиру, в мебель, в керамику, в торшеры, в туристы, в альпинисты, в скалолазы, в детективные романы, в марки, в значки, в спичечные этикетки, в дачи, в сады-огороды, в театры, в концертные залы, в кружки самодеятельности, в подписку на Хемингуэя, в пьянство, в разврат, в обжорство («Я ем. Следовательно, я существую.»), в йоги, в «моржи», в спортивно-оздоровительные группы, в теннис, в преферанс, в лыжи, в коньки, в лошадиные бега...

Я смотрю пристально, я смотрю внимательно. Мне кажется, я начинаю что-то понимать, но я ничего не понимаю, потому что понять это невозможно.

Всё серьезное — серьезно, и несерьезное — тоже серьезно.

Всё незначительное — значительно, а значительное — значительно в той же степени.

Всё со смыслом, но не во всем есть смысл.

Всё по поводу, и ничто — просто так.

Всё естественно, и неестественность — в том числе.

Всё обязательно, и оттого необязательно.

«Можно» и «нужно» меняются местами.

«Да» и «нет» звучат одинаково.

«Ты» и «я» — не всегда «мы».

Осень — золотая, степь — широкая, слава — немеркнущая... Сладко, как на кондитерской фабрике. И как на кондитерской фабрике, хочется соленьенького, хочется кисленького.

...я уйду в футбол, в хоккей, в церковь, в телевизор, в работу, в курилку, в золотых рыбок, в собак, в кошек, в певчих птиц, в магнитофоны, в песни Галича, в комиссионные магазины, в анекдоты, в ханжество, в беспринципность, в равнодушие, в карьеризм, в детей, в охоту, в рыбную ловлю, в выпиливание, в вышивание, в столярничество, в игру на гитаре, в шахматы, в домино, в автомобиль, в мотоцикл, в мотороллер, в подворотню, в тоску, в безделие...

Мне есть куда уходить, но приходиться мне некуда, и я никуда не пришел.

Вера Гавриловна, мама Кости, — пенсионер. Подал заявление ее старей, бессменный начальник, и она подала. У начальника глубокий склероз, распад полный. Работал — держался, ушел — расслабился. Плохо говорит, с трудом понимает, заговаривается, теряет память, без причины плачет. Сколько нервов потратил за годы службы: сплошные авралы, к концу любого месяца штурмом перевыполняли невыполненное. Сколько ночей просидел в министерстве в ожидании возможного звонка сверху: нужен — не нужен, сиди до случая. Вся Москва, все крупные учреждения ночи высиживали неизвестно для чего. А сколько раз их сливали, разукрупняли, сокращали, реорганизовывали: «В целях дальнейшего улучшения...» В министерстве, как на вулкане. Работа на износ. Еще хорошо, что до пенсии дожил. Пенсия есть, а здо-

ровья нет. Ходит Вера Гавриловна к своему бывшему начальнику, помогает его жене за ним ухаживать. Ходит к сыну Косте — тоже помогает. На работу теперь не надо, дел поубавилось, а она, как прежде, в заботах и хлопотах. И всё быстро, всё скоро, всё бегом. Когда в квартире звонит телефон, она первой хватается трубку, торопливо отвечает: «Алло!» Будто пробежала в этот момент мимо, остановилась на секунду и сейчас побежит дальше. К старости в человеке шелухой отбрасывается второстепенное, несущественное, остается главное, определяющее. У Веры Гавриловны главное — доброта. И с годами доброта увеличивается. Заболеют в квартире — она ухаживает. Кому что надо — она сделает. Ее еще и не просили, а она уже сбегала, принесла, помогла приготовить. Ходила на Палашевский рынок, пожалела закутанную, обмерзшую, закончившую над мешками сиплую тетку. Купила у нее картошки, сбегала домой, наварила кастрюлю, положила масла, огурчиков, налила горячего чаю в термос, принесла на рынок. У тетки руки не сгибались, еле отогрела пальцы над стаканом с чаем. Даже всплакнула тетка от удивления, от непривычного чужого участия. Даже насторожилась от этой, вроде, бескорыстной заботы: не понимала причины. Такая жизнь пошла дерганая да суматошная: тут и о себе-то позабудешь, не то что о других. Сидит Вера Гавриловна вечерами у телевизора, передачи смотрит. Когда на экране показывают немцев, выключает телевизор, забивается в угол дивана, сидит-тоскует. Не может позабыть Вера Гавриловна братскую могилу среди проклятой Германии. Не может простить — и не хочет. Есть вещи, которые не прощают. А у самой, как прежде, никогда ничего не болит, никогда ни на что не жалуется. Пока живы родители, они прикрывают своих детей. Дети позади, за спиной, в безопасности. Умирают родители — дети переходят в первый, незащищенный ряд.

Сергей Сергеевич, отец Кости, — тоже пенсионер. Долго не хотел, долго сопротивлялся, пока на работе не сказали прямо. «Если двое говорят «ночь», третий должен ложиться спать.» Ушел на пенсию, изнывал от безделия, каждое утро вставал с головной болью, чем бы заполнить день, челноком тоскливо мотался по бульвару, туда-обратно, туда-обратно... «Мне сто лет, — говорил. — Теперь уже сто лет». Потом, вдруг, купил чертежную доску, с утра укладывал ее на обеденный стол, чертил. Придумал Сергей Сергеевич свой способ стыковки строительных блоков. Показывал в проектном институте, пробивал в комитете, полгода уговаривал знакомого директора, чтобы сделали опытную партию. Выгода явная, но для серийного производства нужны заказы, и потому ездит теперь Сергей Сергеевич по Москве и области, показывает снимки и образцы, агитирует за новшество. Сам не почешешься, никто не почешется. Твое изобретение, ты и пробивай. Кому охота на дядю работать? А он даже рад этому, иногда по неделям в поездках пропадает. Ест на ходу, спит где попало. Человек делает дело. Человек доволен. В том году хотели праздновать семьдесят пять лет, но он не дал. «Мне двадцать шесть. Мне опять двадцать шесть!»

Тетя Мотя, богомолка, совсем старая стала. Не по годам — годы у нее несчитанные, — по здоровью. Приползает из церкви, садится на кухне, запахи из чужих кастрюль нюхает: «Супчику я бы поела...» Ей и отольют. Поест — и на лежанку. Узловатые руки поверх одеяла, кожа в темных пятнах отстает мешочком. Ждет тетя Мотя своего часа когда опустятся с небес светлые ангелы, заберут ее с собой. Давно ждет, уж который год. Теперь, должно быть, скоро. А пока лежит, отдыхает перед дальней дорогой, комнату свою оглядывает — иконы, табуретку, стол под салфеткой, — вздыхает от умиления: «По богатому я бедная, а по бедному богатая».

Хаймертдинов, муж Самарья, умер сразу, как только вышел на заслуженный отдых. Не успел даже пенсией попользоваться. Ничем, вроде, не болел, ни от чего, вроде, и умер. Вечером лег, утром не встал. Легкая смерть, всем на зависть. Всю жизнь считал, считал — и просчитался: все расчеты в амбарной книге полетели насмарку, вся пенсионная бухгалтерия прахом пошла. Самарья устроила по мужу поминки. Собрались соседи, выпили по рюмочке, помянули его негромкую жизнь тихим словом. Мужчины по комнатам разошлись, женщины помогли вымыть посуду. Самарья теперь тоже на пенсии. Зимой сидит на бульваре, воздухом дышит, — вялая, снулая, глаза в одну точку, — летом выезжает за город с пионерским лагерем — опять дышит.

Дядя Паша и тетя Шура, Нинкины родители, тоже на пенсии. Дядя Паша в последний раз утвердил планы клубных кружков, посидел на репетиции танцевального коллектива — девки молодые, горячие, закружатся — всё видать, — нехотя сдал дела своему заместителю. Теперь ходит в домовый комитет, выбрали дядю Пашу председателем. Сбылась, наконец, вековая мечта. Он председатель, а тетя Шура — простая жиличка. К концу жизни обогнал ее дядя Паша по должности, и потому относится к ней небрежно, без былого почтения. Занял сразу же диван-кровать, переселил тетю Шуру на узкую кушетку. Важно ходит по дому, говорит мудро, загадочно, намеками, будто всё знает, будто имеет сведения с самого верха, по прямому проводу. «Учтите, — говорит, — скоро мы будем их развенчивать...» А кого «их» — не говорит, и за что развенчивать — не говорит тоже. Мелкий человек дядя Паша. По жизни прошел, а ума не набрался. Перед каждым праздником присылают тете Шуре с родной фабрики приглашение. Приходят на вечер старые работницы, сидят в президиуме, потом остаются на ужин, на танцы. Раньше были на фабрике

бабы, теперь — девочки. У всех косметика, у всех маникюр, платья настолько выше колен, что в них можно только стоять, а садиться нельзя — стыдно. Старые работницы шепчутся, осуждают, губы поджимают укоризненно, а тете Шуре нравится. Она и сама в молодые годы голая на печке спала — девки удивлялись, и до первого льда в речку лазила, и после бани в снег ложилась — силу свою укрощала. Жаль, что не было в ее время такой моды, да и возможностей тоже не было. Развивалась в то время группа А — производство средств производства, в ущерб группе Б — производству продуктов потребления. А если уж говорить точнее, то не на букве Б стояли продукты потребления, а где-то в конце алфавита, на букве Я.

Зато Нинка с мужем цветут от полноты жизни. Пятеро детей — вещь неслыханная по нашим временам. Один, самое большое — два. А тут целый колхоз. И парни, и девки. Самообслуживание: предыдущий нянчит последнего. Дети в одной комнате, Нинка с мужем в другой, и никого из них к себе не пускает. Она еще молодая, муж молодой. Они жить хотят. «Давайте еще парочку», — подзадоривают приятели. «Всё, — объявила Нинка после пятого. — Закрываем это дело». Летом рассует детей по лагерям, по детсадам, по яслям, а сама с мужем — в Крым или на Кавказ. Облазили за эти годы все Памиры и Тянь-Шани, Валдаи и Кижы, а о Подмосковье и говорить нечего. Берут отпуск, забираются в самую глухомань, ставят палатку, целый месяц валяются на солнцепеке в чем мать родила, прогреваются до костей, набирают солнышка на зиму, а когда приходит пора возвращаться — ногам тесно в ботинках. Теперь ввели два выходных дня, теперь многие раз в неделю устраивают походы с тяжеленными рюкзаками. Вышагивают немереные километры, забираются чёрт-те куда, всю свою энергию вбивают в расстояния, а потом разводят костер, подвешивают котелок, молча смотрят в

огонь. И думать ни о чем не надо: после большого перехода голова тяжелая, мысли тягучие, незначительные. Если сверху, с самолета, взглянуть: горят в темноте костры, сидят вокруг люди. Бегство из города, бегство от самих себя. В понедельник еле до работы доползают, к среде в себя приходят, в пятницу вечером всё сначала: рюкзаки на плечи — и на электричку.

Петя Лапушкин, всемирно известный цирковой артист, ушёл насовсем от своей бывшей жены Тоси. Теперь у него новая жена — редактор, не чета старой. Курит сигареты в длинном, расписном деревянном болгарском мундштуке, одевается по парижской моде. У нее запросы, у нее интеллект, у нее самомнение. Будто не она его жена, а он муж жены всемирно известного циркового артиста. Последние годы Петя Лапушкин не вылезал из-за границы, по много месяцев пропадал на гастролях: ел московскую копченую колбасу, тайком от горничных варил в номере суп из пакетиков, жарил яичницу на утюге — почти цирковой номер, сэкономил валюту. Зато когда возвращался, привозил вещи, джерси-нейлоны разные: что в дом, а что на продажу. Приходили женщины, знакомые жены и знакомые знакомых, возбужденно рылись в грудах красивого тряпья, тут же примеряли, тут же расплачивались, завидовали бессильной завистью. Теперь Петя Лапушкин не выступает. Теперь он режиссер, постановщик номеров и целых представлений. Седой, солидный мужчина: прекрасный костюм, на пальце перстень, слова умные произносит: задача, сверхзадача, сквозное действие, подтекст. Жена-редактор натаскала. Сначала было трудно, сбивался на цирковой жаргон, путался в терминах, потом освоился. С авторами беседует, указания дает. «Хорошо бы, — говорит мечтательно, — чтобы у клоунов позитив шел через негатив...» Авторы соглашаются. Действительно, хорошо бы. А как?

Бывшая жена его Тося работает на телеграфе, принимает телеграммы по телефону: «Сердечно поздравляем...», «Дорогую и любимую...», «Обнимаю, целую...», «Счастья, здоровья, радости...» Перед праздниками и Новым годом телефоны, как оглашенные. Наслушается Тося нежностей всяких, сюсюканья, красивых, одинаковых слов, — их не только слушать — их повторять надо, чтобы, не дай Бог, ошибка не вкралась, — и потом, после смены, такое ощущение, будто в одиночку съела огромный кремовый торт. И жизнь у Тоси скучная, без ласки. Нерегулярно ходит к ней сослуживец, техник по аппаратуре, солидный женатый человек. Полбутылки белой, грибочки, огурчики, колбаска, чай с вареньем. На полчаса запирает Тося дверь, потом до метро провожает. Он едет к семье, она возвращается домой. А наутро всё сначала: «Дорогую, любимую...», «Счастья, здоровья, радости...», «Целую, целую, целую...» Столько красивых слов на работе и ни одного дома.

Сережка Лапушкин, ее сын, в прошлом году окончил школу. Учился плохо, лениво, безо всякого интереса к любым наукам. Не шумел, не хулиганил: унылый, равнодушно злой парень, холодный, как собачий нос. Почему-то одно время решили, что дети ужасно перегружены учебой, и по сему случаю отменили почти все экзамены, ввели «дни здоровья» и прочие поправки, что явно не способствовало увеличению знаний у подрастающего поколения. У Сережки Лапушкина, во всяком случае, не способствовало. Когда отец приезжал с гастролей, брал Сережку к себе, водил в цирк, показывал конюшни, знакомил с разными знаменитостями, давал билеты на просмотры. Как-то само собой подразумевалось, что Сережка тоже пойдет в искусство, а для человека искусства важны не школьные знания — важна его индивидуальность. Их подобралась группа: яркие индивидуальности, будущие гении. Угрюмые, презирующие друг друга маль-

чки, и экзальтированные, нервно-возбужденные девочки, которые метались между желанием встать над примитивной толпой с ее банальными условностями и боязнью потерять невинность. После школы Сережка Лапушкин подал документы на актерский факультет, но срезался сразу же, на первом просмотре. Таланта не оказалось, и появление его в ближайшее время не предвидится. Скоро возьмут в армию, а пока работает, ездит униформистом в бригаде «Цирк на сцене». Жизнь у Сережки легкая, примитивно беззаботная: что ни неделя — новый город, новая гостиница. Первым делом выходят на улицу, знакомятся с девочками. Два варианта. Всего два варианта. «Девушка, вы не против знакомства на улице?» — «Не против». — «Я тоже...» Далее что угодно, только без остановок. «Девушка, вы не против знакомства на улице?» — «Против». — «Я тоже. Но у меня нет другого способа познакомиться с вами...» Опять что угодно, только без остановок. Знакомятся с девочками, приглашают в номер, подпаивают, коллективно развлекаются. Никаких тайн, никаких откровений: половые отношения на уровне обезьяньего питомника. Выступали в клубе далекого рыбзавода, после концерта остались на танцы. Кучкой стояли у стены, презрительно оглядывали местных, острили, а потом Сережка, на спор, пошел приглашать девушку. Пока танцевал с ней, пока нашептывал на ушко, расстегнул на спине все пуговицы, оголил ее чуть не до пояса. Ребята радостно загоготали, заверещали, захрюкали, — Сережка победителем возвращался к своим, — а девушка догнала его, повернула за плечи, ударила ребром жесткой ладони по носу. Была драка: резкая, жестокая, стульями, палками, железными прутьями. Местные дрались молча, без мата и ругани, чем удивили и испугали приезжих. Их выкинули из клуба, заперли дверь, и Сережка Лапушкин, размазывая по лицу кровь, срываясь на визг,

зло орал в выбитое окно: «Мы завтра уедем отсюда, понял?! Мы уедем, а вы тут останетесь!..»

Экштат Софья Ароновна всё так же работает в поликлинике. Тридцать пять лет на одном месте. Это сколько же зубов она вырвала — не счесть! Лечился у нее один киноработник, молодой, но ответственный. Когда отпустила боль, заявил от избытка чувств: «О вас, Софья Ароновна, фильмы нужно снимать». А она не возражает. Если нужно, снимайте. Вам виднее, про кого снимать, а про кого не снимать. Так ведь если бы у него постоянно зубы болели... А то когда он еще про Софью Ароновну вспомнит? Шла с работы, увидала в подворотне мужика без ног, с кожаной подушкой на асфальте, остановилась, бросила пятак в протянутую кепку. «Не надо, мамаша, — с сиплой снисходительностью сказал мужик. — Оставь себе на сахарок». — «Ну, почему же... — громко, на всю улицу, обиделась Софья Ароновна. — Я еще работаю».

А Экштат Семен Михайлович уже и позабыл, когда он в аптеке за окошком сидел. Стал нелюдимым, бреется редко, забросил любимую коллекцию, характеризующую его, Экштата Семена Михайловича, жизнь. Плохо слышит, пользуется слуховым аппаратом. Выходит на улицу, садится на скамейку, подсаживаются еще пенсионеры. Они беседуют, жизнь свою вспоминают, а он выключает слуховой аппарат, смотрит на шевелящиеся губы, догадывается. Потом вскакивает, говорит сердито, поперек: «А! Не морочьте мне голову...», и уходит. Предлагали ему оперироваться, чтобы слух улучшить, да он не согласился. «Так я хотя бы могу вас выключить...» И петь Семен Михайлович уже не поет. Не заливается кантором, не мурлычет себе под нос. Его песня давно кончилась. На бульваре теперь пустынно, детей мало, одни пенсионеры. Няnek почти нет, исчезли няньки, как класс, а сидит на бульваре тетя Клава, в одиночку обслуживает

население. Два раза в день подбрасывают ей детей, и она с ними гуляет, и коляска у нее есть, куда кладут грудного ребенка, но даже тетя Клава жалуется на недобор. А вокруг — одни старики. Молодежь, в основном, получила квартиры, ушла из центра. Раньше Черемушки были на краю света, а теперь Беляево-Богородское, Фили-Машилово, Хорошево-Мневники. Дальняя даль, довоенные дачные места.

Дочь Экштатов Манечка вместе с мужем Натаном построили кооперативную квартиру в Химках-Ховрино. Воздух, лес, водохранилище под боком, рассрочка на пятнадцать лет. Кооперативный дом окружен простыми домами, и их, буржуев, не любят. Зайди в булочную, спроси: «Мягкого хлеба нет?», сразу взрываются: «Понаехали! Баре какие...» Купила Манечка финский гарнитур, простого дерева низкие шкафы, торшер, бра, коллекция свечей, портрет Хемингуэя. Приходят гости, говорят о поэзии, слушают музыку, пьют кофе из керамического сервиза. Ходит вокруг ангорская кошка, трется о ноги. Ласковая, воспитанная: родословная, как у хорошего князя. В интеллигентной семье и кошка — интеллигент. Тон в квартире задает Манечка, а муж ее, Натан, с полочки идет со своей инженерной братией в соседнюю шашлычную, отводит душу в простых разговорах. Шашлычная вся из стекла, внутри черные стены и на них — белые толстые веревки зигзагами. Художники постарались, навели красоту. Когда Хрущев боролся с абстракционизмом, веревки сняли, на стены набили полки и установили великое множество глиняных мисок. Глина — это уже пройденный этап, а веревка — пока еще модерн. В шашлычной разговоры немудреные. Про футбол, хоккей, женщин и телевизионные передачи. Сидят простые инженеры-механики, языки чешут. Такой вокруг прогресс науки и техники, что невозможно разобраться даже в популярном изложении, а наука и техника скажут и скажут вперед, и все путается, и вот

мы уже заискиваем перед монтером, который приходит чинить наш телевизор. Наука так далеко ушла вперед, что все мы от нее отстали. Нечего даже пытаться догонять. Муж Манечки, Натан, давно уже не пытается.

Дима Крикун, сын Манечки, остроумный молодой человек, бессменный капитан школьной команды КВН. «Приток Волги?» — «Ока». — «Вулкан в Мексике?» — «Попокатепетль». — «Как звали Рамзеса Третьего?» — «Рамзес Третий». — «Что такое культура?» — «Культура — это когда моют ноги». За удачные ответы получал Дима победные очки на турнирах и замечания директора после них. Директор школы — человек осторожный, боязливый. Сколько времени уже прошло, а он всё оглядывается, всё вздрагивает, забыть никак не может... Даже танцы просто так не устраивает. Сначала встреча с писателем, с передовиком, с другими интересными людьми, а уж потом только танцы. (Господи! Ну, когда же мы поумнеем? Когда перестанем вздрагивать, Господи?!) Уже в девятом классе Дима заявил на литературе, что не признает И. С. Тургенева, потому что Тургенев скучен, однообразен, и мало дает ему, Диме Крикуну, информации. Учитель литературы очень огорчился, прочитал лекцию о классиках, приводил примеры, наизусть зачитывал отрывки. «А почему это я должен их всех любить? — запальчиво спросил Дима. — Тургенев тоже, наверно, не каждого признавал». И учитель вдруг позавидовал его категоричности. Что-то, видно, струнулось с места, потому что когда учитель сам был еще учеником, гениями считались те, кого нам рекомендовали в гении, и собственные суждения по этому поводу даже не возникали. Теперь Дима учится в университете. Читает много, размышляет, готовится стать психологом. Уже предъявлял претензии своим родителям, что неправильно воспитали, не научили в детском возрасте отличать хорошее от плохого,

искусственное от естественного, настоящее от мнимого, дутое от великого, правду от лжи. А он должен теперь перестраиваться, переоценивать, переосмысливать понятия и принципы, искать, находить и вновь утверждать, тратить на это время, лучшие молодые годы, ценную психическую энергию. Как будто родители виноваты... А кто же тогда виноват? По утрам едет Дима в метро, на переходе бежит по эскалатору. Он бежит, а кто-то другой спокойно едет. Он прибежал, а поезд уже ушел, и тот, другой, снисходительно улыбаясь, неторопливо появляется на платформе. Вроде бы, глупо бежать, но Дима бежит еще и еще, чтобы, в конце концов, попасть на этот поезд, а не на следующий.

Веня Вдовых, зять Лопатина Николая Васильевича, получил от завода огородный участок, поставил дом-курятник, приезжает в пятницу вечером, хватает лопату, жадно вгрызается в землю. Вокруг сто домов, сто заборов, и все трудятся, вкалывают до седьмого пота без всяких обязательств. Ляля Лопатина приезжает на выходной, целый день лежит в шезлонге, дремлет. Уже ей за сорок, а всё такая же гладкая, пышная, без единой морщины, и всё так же мужчины пристают на улице. Раньше приставали молодые мужчины, теперь — пожилые. Уж хоть бы она этим делом занималась, что ли! А ее ничто не волнует. Спокойная, равнодушная, все волнения мира ей до пуговицы. Дальше не пустит.

Лопатин Николай Васильевич, заядлый садовник, живет на участке с апреля до первых морозов. Разводит цветы, ухаживает за яблонями, сидит по вечерам на скамейке, сложив руки на коленях и глядя на заходящее солнце. Вот стоят деревья, которые он посадил, вот плодоносит земля, которую он вскопал, вот раскинулись шесть соток его гордости и его умиления. В пожилые годы мы имеем право на гордость и умиление. Иначе зачем нам даны пожилые годы?

Галя Вдовых, внучка Лопатина Николая Васильевича, одаренная девочка. Поет, рисует, пишет стихи — вся в бабушку, в боярский интеллигентный род. Степяется до слез от чужой неестественности, от притворства, вычурной манерности. Может подойти, сказать любому, даже незнакомому: «Перестаньте! Ну, перестаньте же притворяться...» Есть у Гали друг, тихий, незаметный мальчик, который однажды отчаянно подошел к ней на улице, поздоровался, храбро предложил: «Давайте сразу на «ты»...» — «Давай», — согласилась Галя и доверчиво взглянула огромными глазами-зрачками. В ее глаза нельзя долго смотреть, потому что видишь человека целиком, без внешних покровов, будто подглядываешь за ним в замочную скважину. Что он думает, что он хочет, что он есть — всё видно. По воскресеньям они уезжают за город, сходят на любимой платформе. Платформа построена прямо в лесу, дорожка, протоптанная в траве, исчезает между деревьев и ведет неизвестно куда, и кажется, будто поезд остановился только для того, чтобы человек вышел из вагона и вошел в лес. Они гуляют долго, до самого вечера, отдыхают на поваленных деревьях, и красное солнце прямо на глазах опускается на просеку. Галя поет песни, читает стихи, а он слушает, уткнувшись подбородком в колени, неотрывно смотрит на нее. Встретятся взглядом, замрут, не моргая, надолго, разговаривают молча, без слов. Гляделки. Детская игра. Зимой берут лыжи и по целине пробираются к садовому домику ее отца. Топят печку, кипятят чай, всю ночь по очереди вскакивают с дивана, босиком бегут по застывшему полу, подбрасывают дрова, чтобы к утру не выстудило комнату. Все знают об их поездках — и дома, и в школе, — но никто не сказал о Гале ничего худого. Что бы она ни делала, всё хорошо, всё чисто. Проводили в школе анкету: «Что ты хочешь от жизни?» Она написала крупно, поперек страницы: «Я хочу многого!»

И подчеркнула толстым карандашом. На выпускном вечере выступала первой, волновалась: «Говорят, что мы не знаем жизни. Это неверно. Мы не знаем ее плохих сторон. А кто сказал, что знать жизнь — это знать ее плохие стороны? Кто?!» Потом вставали учителя, прощались с учениками. «Вы лучше нас, — сказала молодая учительница, сама только что из института. — Какие вы естественные, независимые, раскрепощенные... Если бы вы знали, как мы вам завидуем!» Галя Вдовых изредка приезжает на старую квартиру, в комнату Лопатина Николая Васильевича. Комната заперта на замок, кабинет жены заперт отдельно, а в кабинете заперт еще и шкаф, будто никогда его не открывали, будто не хватало нервные пальцы небрежно исписанные листки. Галя снимает замки, открывает заветный шкаф, часами перебирает желтые, ломкие страницы. Потом ходит по комнате, прижимается лицом к холодному зеркалу, плачет, будто прощается навсегда с любимым человеком. И не разглядеть в старом, потускнелом зеркале, кого оно отражает. А в квартире тихо, народу в квартире осталось мало. Одна, да одна, да двое, да еще двое, да еще — восемь человек. Свет в коридоре погашен, телефон звонит редко. Все пожилые, все с хворобами: помогают друг другу, по возможности облегчают старость. Из всех поколений, живших до нас на земле, мы самые суровые и самые безжалостные к себе люди. Когда умирают наши близкие, мы не оставляем себе никаких надежд на встречу с ними в другом мире. Мы не верим в Бога, мы верим в прогресс науки, в победу над болезнями, в продленную до последнего предела человеческую жизнь. Наши предки об этом не подозревали. Они не могли не умирать. Для наших потомков это будет обыденно. Им не дадут умереть. Мы всё знаем и мало что можем. Нам обиднее во сто крат, ведь мы не доживем до этого всего на несколько поколений. Мы жестоки сами к себе, и время жестоко к нам.

- Скорая?! Ну, где же вы?
- Фамилия?
- Вы уже спрашивали...
- Фамилия.
- Хоботков.
- Имя, отчество?
- Константин Сергеевич.
- Возраст?
- Тридцать шесть лет.
- Всё правильно. Ждите машину.

Мы идем по длинному конечному коридору между двумя рядами высоких стен, и никто не попадает на нашем пути. Лишь иногда в стенах встречаются окна, в которые к нам заглядывают родные и близкие, случайные люди и доверенные лица. Одни из них перебегают от окошка к окошку и сопровождают нас до конца нашего коридора, другие стоят у своего окна и смотрят нам вслед, а третьи, как прохожие на улице, мимоходом бросают в окно нелюбопытный взгляд. Чем общительнее человек, тем больше у него окошек, но даже самые общительные не идут по коридору с прозрачными стенами. «Как жизнь?» — спрашивают они нас, заглядывая в окна. «Как жизнь?» — спрашиваем мы их на ходу. И не задумываясь, отвечаем: «Ничего. Нормально. Порядок». Стандартный вопрос, стандартный ответ. А как она, на самом деле, жизнь? И жизнь ли она? И полна ли она? И нужна ли она? Может, потому и спрашиваем друг друга, что бессознательно ищем подтверждения ее существования. «Как жизнь? Ну, как она, жизнь?!»

Бежит по улице человек.

Прибегает человек домой и ныряет с головой под одеяло. Переводит дух и спокойно, не торопясь, начинает укладываться. Подтыкает одеяло под бок, чтобы не дуло. Приподнимает ноги и прижимает ими край

одеяла. Пристраивает поудобнее тело. Обследует ногой прохладные закоулки и укромные уголки. Зарывается головой в подушку. Покряхтывает от избытка чувств. Высовывает наружу кончик носа, чтобы не задохнуться. Закрывает глаза и блаженно улыбается.

Под одеялом он всемогущ. Владыка мира. Царь вселенной. Вольный сын эфира. Что угодно!

Не хочет быть владыкой — не надо. Может расправиться с обидчиком. Разгромить врага. Обидеть кого угодно. Произнести речь. Поклониться под градом аплодисментов. Пожелать, чтобы его качали. И его будут качать до самого утра.

Всё, чего он не может добиться в жизни, ему шутя удается под одеялом.

Но он не нахал, не рвач. Он не злоупотребляет положением. И мечты должны иметь пределы.

Самое главное, под одеялом он в безопасности. Он чувствует себя увереннее, надежнее, спокойнее. Как жалко, что утром одеяло надо откидывать и опускать голые ноги в застывшие тапочки. Как жалко, что одеяло нельзя взять с собой на работу. Как жалко, что без одеяла человек теряет эти прекрасные свойства.

Одеяло — это броня, одеяло — это крепость, одеяло — это ДОТ (долговременная огневая точка).

Лучше всего — ватное одеяло.

Жизнь хороша своей определенностью.

Перемены нужны нам в молодости.

Кто бегаёт и суетится, тот не нашел себя.

Кто успокоился, тот нашел.

Жизнь — это борьба!

Но борьба — это не жизнь!

В каждом алфавите есть своя буква «А».

В каждой голове есть своя академия.

Пиджаки бывают односторонние и двусторонние. Трехсторонние пиджаки не бывают.

Почему?

Потому.

А поподробнее?

Потому что.

Жизнь у меня неплохая. Неплохая у меня жизнь. Не так хорошо, как бы хотелось, и не так плохо, как кажется.

Куда поставят — там стою.

Куда пошлют — туда иду.

Куда не надо — туда не лезу.

Куда надо — туда тоже не лезу, потому что «куда надо» с завтрашнего дня может стать «куда не надо».

Наше дело маленькое: круглое — катать, плоское — тащить.

От великого до смешного только один шаг. Нужно сделать полшага и замереть на месте.

Вы, конечно, присоединяетесь?

Конечно. Я присоединяюсь к мнению предыдущего оратора.

День прошел — и ладно.

Ладно?

Бузотеры, бунтари, ниспровергатели — они тихо сходят в могилы под благополучнейшие некрологи, а то и без них. Бузотеры — сгнули в тридцать седьмом. Бунтари — утихли в сорок девятом. Ниспровергатели — превратились в образцовых редакторов. Их успокоил страх. Их уравнила боязнь. Их обстригло время. И тихо они уходят. Мышами в подпол.

А мы-то, мы... В наши молодые тридцать шесть! Не постаравшись даже. Не попытавшись. Не шелохнувшись хоть для видимости. Мы не тщеславны. Мы не любопытны. Больше того, мы рассудочны.

— Дорогой, — утешаем друг друга, — а что делать? Время нынче такое. Надо переждать.

Вот мы и ждем. Но время не переждешь. Оно не по нашим срокам. Нам отмерено, ему — нет. И вот

нам уже по пояс, по горло, по уши, а время идет себе да идет. Оно не торопится. У него в запасе — вечность. И вот нам уже по макушку, и вот о нас говорят:

— Чуть-чуть не дотянул... Бедняга!

У меня, как и у всех в общем зале, стол с тумбой, желтый стул на круглых ножках с лаковыми подтеками, которые так приятно отколупывать, когда нечего делать, карандаши «Пионер» № 2, цена 1 копейка, блокноты серой бумаги в линейку, фирма «Восход», цена 10 копеек, «Изготовлено из отходов», и общий для всего зала телефон: «Частные разговоры в служебное время не разрешаются». Но зато каждый год в конце декабря мне выдают новый, перехваченный цветной бандеролькой настольный календарь. Как знак отличия. Как один из тех мелких знаков, которые отличают простого человека от человека со значением. А я человек со значением. С небольшим значением. И поэтому мне выдают обычный, в черную краску, настольный календарь. А есть еще календари разноцветные, с водяными знаками, с золотым тиснением, и очевидно, еще какие-то, о которых мы и не подозреваем. И бандерольки на них, наверно, особенные. И стоят они на столах рядом со стаканчиками, а в стаканчиках карандаши: толстые, разноцветные, аккуратно заточенные: так и подмывает взять в руки и наложить резолюцию. И стол под сукном. И кресло с подлокотниками. И блокнот плотной глянцевой бумаги под толстым переплетом. И выстроенные в ряд, нацеленные в потолок ракеты-авторучки на мраморном постаменте. И конечно же, телефоны. Обычные черные. Разноцветные. Телефонные агрегаты с кнопками, клавишами, мигающими сигналами. Как много у нас, у штатских, знаков отличия... Не то, что у военных: две звездочки — лейтенант, четыре — капитан, папаха — полковник. Как будто мы, штатские,

боимся, что не распознают, не разглядят, не поймут нашу роль и наше значение... Нашу роль! Наше значение!

Вот я уже на вершине, но я не ощутил подъема.

Вот я уже достиг потолка, но я не оторвался от пола.

Вот я уже в расцвете сил, но как их измерить?

Вот я уже счастливый, но с чем сравнить мое счастье?

Вот я уже всё видел, но много ли попадалось мне на глаза?

Вот у меня уже опыт, но я его не ощущаю.

Вот я уже всё знаю, но я не знаю ничего.

Вот у меня уже дети, но я сам еще ребенок.

Вот у меня уже есть всё, но у меня нет ничего.

Вот я уже умер, но я еще не жил.

Простите нас, наши родители! Мы уходим раньше вас, и это высшая наша неблагодарность. Простите нас!

Простите нас, наши дети! Мы уходим от вас второпях, не сказав самого главного, будто трусливо убегаем от основного вопроса. Простите нас!

Простите нас, наши учителя! Вы были искренни с нами, но жизнь оказалась еще искреннее. Простите нас!

Простите нас, наши ученики! Если бы мы страстно и убежденно научили вас ошибочному, в этом был бы хоть какой-то смысл. Но где взять убежденность? Простите нас!

Простите нас, наши враги! Мы вяло и неумело боролись с вами, и не дали вам ощутить вздох радости победы, ни горечи поражения. Простите нас!

Простите нас, наши друзья! Вы остаетесь после нас, и на ваши плечи перекладываются все наши сомнения. Простите нас!

Простите нас, все остальные! Вас так много, что наш уход остается незамеченным. Нас так много, что вы не можете на всех обращать внимание. Простите нас! Прощаем вас!

«Скорая помощь» пронзительно взывает, словно рывком сдергивает с тебя кожу.

«Скорая помощь» с воем идет по нескончаемому Садовому кольцу, по осевой полосе, на красный, на желтый, на зеленый свет, а человек лежит на спине, человек глядит вверх, в окошко на потолке, а наверху проносятся провода, провода, переплетения проводов, паутина, перечеркивающая небо. А жить хочется — хочется, хочется; хочется, — а жить очень хочется, а жить хочется так, что не подобрать к этому никакого сравнения. И если одни всю свою жизнь ждут смерти, то другие всю свою жизнь ждут жизни.

Ждут...

Ждут...

Ждут...

Ждут жизни.

Без четверти девять, распугав ребятишек, во двор въехала похоронная машина. Шофер, здоровенный мужик в мятом, рыжем пальто с оттопыренными, надорванными карманами, остался сидеть за рулем, уложив руки на баранке, а грузчик, мелкий, щуплый, в бесцветном от старости ватнике с вылезавшей местами серой ватой, в стоптанных сапогах, в кепке до бровей, поднялся по лестнице на нужный этаж, сверился по бумажке, позвонил. Ему открыли и сразу же зашуетились, заволновались, заплакали, стали прощаться. Грузчик ждал на лестничной площадке, курил, потом сплюнул папиросу, растер сапогом по плитке пола, пошел вниз. Минут через десять они поднялись вдвоем, неся гроб. Шофер шел сзади, неодобрительно поглядывал на узкие лестничные переходы и короткие

площадки, а поднявшись, встал в распахнутых настежь дверях, уткнулся головой в притолоку, спокойно глядел на привычную ему суету и слезы, на судорожные попытки задержать последние минуты прощания.

— У нас на сегодня три рейса, — громко сказал шофер, и родственники отступили перед запланированной неотвратимостью.

Они спускались медленно, боясь оступить, — впереди шофер, позади грузчик, — обтирали спинами беленые стены, с трудом разворачивались на площадках, сипло и натужно дышали, а родственники растерянно вертелись рядом, мешали. У подъезда ждала толпа: старушки со скорбными лицами часто крестились, возбужденные ребяташки перебегали с места на место, чтобы всё увидеть, чтобы не пропустить самое интересное. Шофер залез в машину, принял гроб, закрепил ремнями, тяжело прыгнул на землю. Они стояли вдвоем с грузчиком, курили, сплевывали, равнодушно оглядывали двор, дом, толпу, суетившихся у подъезда родственников.

— Документы взяли? — спросил шофер.

— Взяли...

Они медленно, чтобы не задеть ребяташек, развернулись около бака с мусором, выехали со двора, проехали чуть-чуть, встали. Грузчик выскочил из машины, шустро убежал за угол. Минут пять все сидели тихо, ждали, недоуменно переглядывались. Кто-то сморкался, кто-то задавленно всхлипывал. Потом грузчик выскочил из-за угла, побежал к машине. В руке батон, в кармане брюк — бутылка.

— Пообедать некогда, — угрюмо сказал шофер, и они поехали дальше.

Они ехали без остановок до самого кладбища. Грузчик жевал отломанную горбушку, шофер мрачно глядел вперед, родственники тихо переговаривались. Перед воротами кладбища шофер развернулся, затормозил, пошел открывать заднюю дверь. Родственники

неумело подхватили гроб и, мешая друг другу, толкаясь, наступая на пятки, понесли в ворота. Один из них вытащил деньги, сунул шоферу в руку.

— Мало, — обиженно сказал тот, вертя бумажку между пальцами.

Родственник смутился, дал еще.

— Спасибочки!.. — неожиданно весело выкрикнул грузчик, и машина ушла обратно в город.

На сегодня у них осталось еще два рейса.

Стали ему копать могилу, а там кого только нет. Лежит в земле брат Лёка, девятнадцати лет; лежит няня, старая, морщинистая, ломаный мизинец буквой «Г»; лежит сын ее Николка — ни живой, ни мертвый, пропавший без вести на Смоленском направлении; лежит бабушка Циля Абрамовна со своим молитвенником; лежит сын ее Гриша, ласковый, почтительный; лежат дети его — двойняшки; лежат Кукины, муж и жена, арестованные в тридцать восьмом проклятом году; лежит Хаймертдинов с амбарной книгой, в которой подсчитаны все расходы за его грошовую, экономную жизнь; лежит жена Лопатина Николая Васильевича, боярских кровей; лежит добрый доктор Шапошников; лежат заключенные; лежат солдаты, лежат руки и ноги, отрезанные по госпиталям; лежат герои, успевшие стать героями; лежат герои, не успевшие ими стать; лежат невысказанные мысли, несбывшиеся надежды, неиспользованные возможности, нетронутые эмоции; лежат те, кто кормил тебя, поил, мыл, учил, утешал в трудную минуту: беспокоился. Ты забыл о них, но они живут в тебе частичей своей, и набор этих частиц составляет тебя. А потом и ты уходишь, и твоя частица остается в следующих. Это и есть — мы. Мы все. И ничто другое. Ты, предыдущий, передаешь свое беспокойство последующему. Ты кредитуешь его в бессознательной надежде, что и он передаст по цепочке дальше. А если

кто-то не передает, рвется одна маленькая жилка в канате, на котором висим мы. Мы все. И не спасут тебя ни дела, ни служебные заслуги, которые тоже имеют значение, но значение второстепенное, а спасет одно лишь неуловимое состояние радостного беспокойства, передаваемое дальше. Пока бьет в тебе родничок, ты бессмертен. Заглох, затянуло песком, нет его — начинай потихоньку готовиться к смерти. Загодя, за́долго, неминуемо... Еще впереди долгие годы, еще впереди — жизнь, но процесс уже начался, процесс уже идет.

Рабочие опустили гроб в могилу, выдернули веревки, отошли в сторону. Родственники бросили по комочку земли, постояли, посмотрели, как вырастает холмик, как приглаживают его лопатами, прикрывают венками, и медленно, словно нехотя, пошли к воротам. Мимо могил, по боковой дорожке, по главной аллее, быстрее, быстрее, быстрее, совсем быстро. Он пошел было за ними, но сразу отстал и остановился в воротах кладбища — дальше ворот нельзя, теперь ему место здесь, только здесь, — смотрел, как они бегут к автобусу, кричат водителю, чтобы подождал, прыгают на ходу...

Сто сорок четыре ступеньки: через две — через две — через три; бегом к остановке: автобус отходит — отходит — отходит; лестница вниз — подземный переход — переход — переход — лестница вверх; горохом по эскалатору — броском в вагон — из вагона на переход — с эскалатора в трамвай — с трамвая бегом — сомкнутыми колоннами — колоннами — колоннами — а насосы сосут и сосут — а колонны бегут и бегут — шаг в шаг — вдох-выдох — вдох-выдох — выдох — вдох!..

ГРАНИ

- Ты готов?
- Я готов.
- Побежали...

Москва.
1967—1969 гг.

Леонид БОРОДИН

СТИХИ,
НАПИСАННЫЕ В ТЮРЬМЕ,
ГДЕ ИХ ПИШУТ МНОГИЕ

А за спиною хлюпает вода,
А под ногами чавкает болото.
Иду давно упорно не туда,
Но по следам прошедшего кого-то.

Иду за ним, выщупывая твердь,
А вслух шепчу, дивясь на гнилолетье:
«Упрямству незнакомому не верь,
Безумию чужому не доверься».

И всё ж иду сквозь комариный шквал,
Стопу во след вправляя аккуратно.
Он что-то видел, если рисковал,
Безумец, не вернувшийся обратно.

Кому-то слезы и кому-то грусть...
А мне пусть цель просветит, промаячит.
И если я до ночи не вернусь,
То это вовсе ничего не значит.

* * *

Мы с детства в Русь вколдованы,
Лишь помни и носи.
Но судьбы уготованы,
И нет нам той Руси.
То к худшему, то к лучшему...
Кому про то ясней?
По Пушкину, по Тютчеву
Знакомились мы с ней.
Сквозь песни молодецкие
Мы ищем нашу Русь.
Нам бабки досоветские
Нажили эту грусть.
Но тропы опечатаны:
Не тронь, не воскреси.
Последние внучата мы
Несбывшейся Руси.

ЮРИЮ ГАЛАНСКОВУ

Мне в одну из недель
Белым днем, наяву,
Прошептала метель,
Что напрасно живу.
Что тяни — не тяни,
Время выщелкал кнут,
Что отсчитаны дни
В тонких пачках минут...
Прошептала метель
Всё, что знала она,
И ушла в канитель
Колесом от окна.
И с тех пор, как во сне,
И с тех пор, как в бреду,

Я последней весне
 Счет в минутах веду.
 Я минуты коплю,
 Как монет не копил.
 Я истошно люблю
 Тех, кого не любил.
 Но могла же метель
 Мне давно удружить?..
 Я ведь с этих недель
 Только пробую жить.

БАЛЛАДА ОБ АЛЬБИНОСАХ

Лихую весть носили птицы
 В десятках глоток пролужённых:
 У бурой мамы медведицы
 Родился белый медвежонок.
 Она три дня сосала лапу,
 Дивясь на чудище такое.
 Она в сердцах бранила папу,
 Но папа сам не знал покою.
 А слух — вразнос, а слух — с разбегу
 На всю тайгу! Приятно ль это?
 И лишь малыш — охапка снега —
 Не знал, что он чужого цвета.
 Но время шло, он рос без спроса,
 Бесстыдно бел на вызов моде.
 И я медведя-альбиноса
 Однажды встретил на болоте.
 Хотел пугнуть его картечью
 По всем законам вероломства,
 Но вдруг шагнул к нему навстречу,
 Раскрыв ладони для знакомства.
 Что проку нам во взглядах хмурых?
 Мы друг для друга не опасны:

Ты вырос белым — среди бурых,
 Я вырос белым — среди красных.
 Привет тебе, кусок сугроба,
 Ко мне тебя сам Бог направил,
 Мы оба — выродки, мы оба
 Есть исключение из правил.
 Так будем братья. Будем рады,
 Что двое нас на белом свете.
 Я покажу тебе засады,
 Что люди ставят на медведя.
 Смотри: я высох от проклятий,
 Измен, предательств и доносов.
 Так не жалея своих объятий,
 Мой брат из рода альбиносов!
 Прими же, брат, счастливый случай,
 Нам путь назад — что путь на плаху...
 Пойдем же, брат, тайгой дремучей:
 Чем дальше в лес, тем меньше страху.
 И мы клялись, и мы братались,
 И мы уверовали в счастье.
 И мы б вовеки не расстались.
 Но рок — есть рок. Всё в Божьей власти.
 Нам клятвы счастья не сулили,
 И я надеялся едва ли...

Медведя — люди подстрелили.
 Меня — медведи разорвали.

* * *

Не вспомнив о Боге, но вспомнив о шпаге,
 Стораю в бесплодном, бессмысленном риске.
 Что хочешь прочесть на истлевшей бумаге?
 И что начертать на немом обелиске?

Без веры и сил, — не жильцы, не скитальцы, —
Дойдя до конца бесконечной дороги,
Скрывая от взглядов разбитые пальцы,
Не вспомним о шпаге, а вспомним о Боге.

* * *

Я в России моей светлоглазой
Открывал за чертою черту.
Мне ее разрубили на классы,
Рассекли топором по хребту,
Обкорнали, взнуздали и вздыбили,
Гнали шпорами в дым-дымовье.
Полстолетия мчались и прибыли,
Чтобы выслушать слово мое.
Но ответил я речью невнятной,
Шелуху ярлыков теребя...
Как любить мне тебя, непонятную?
Как мне мстить, не поранив тебя?..

* * *

Пей кубок жизни, жадно пей!
Но даже в рублище убогом
Будь сыном родины своей.
И будешь правым перед Богом.

Борис ФИЛИППОВ

ЗАМЕТКИ О ПОЭЗИИ БОРИСА НАРЦИССОВА

Ознакомление с русской зарубежной литературой послевоенных десятилетий, помимо общелитературного, имеет и свой специфический интерес. Во-первых, эта литература, может статься, — самая свободная и независимая во всем мире, ибо она не только неподвластна удушающей тюрьме советского существования, но и мало чем связана с модами и требованиями читателей и коммерческими интересами издателей в странах русского рассеяния. Иноязычная западному миру, она частично, а то и полностью варится в собственном соку, рассыпанная историческими обстоятельствами по всем континентам и странам. Но еще важнее то, что русские поэты и прозаики зарубежья сороковых-семидесятых годов представляют собою «парцеллированную» литературу — отдельные и отделенные друг от друга пространством, житейскими нуждами, заботами и работами (внелитературного порядка — литературой в эмиграции прожить нельзя) замкнутые мирки, — почти что монады без окон и дверей Лейбница. Были бы у них эти двери и окна — возможность взаимоотношений с другими русскими

поэтами, — может быть, и образовалась какая-либо новая «нота», вроде когда-то создавшейся ноты «парижской». А сейчас эти поэты в н е направлений, не входят ни в один литературный клан, ни в один литературный кружок или поэтическое объединение. Поэтому русские зарубежные поэты и прозаики и не принадлежат, собственно, ни к какой «типообразующей ноте»: каждый из них — сам по себе, — и их изучение имеет и интерес, я бы сказал, литературно-лабораторный: как вырастает поэзия в условиях некой литературной торичеллиевой пустоты, без обязательств по отношению к тому или иному ордену художников слова.

Но эта торичеллиева пустота относительна: поэты, лишенные своей природной языковой и житейской среды, вместе с тем — отнюдь не вне времени и пространства: рассеяние по лицу земного шара дает им и какую-то иную, чем на «большой земле родины», оглядку, какое-то иное свечение и звучание. Не могут не отразиться и чужие им ландшафты, идеи и культуры. Да и тяга к родному слову и словообразу усиливается и утончается в чужеродном мире. И, как бы страшась одиночества, авторы зарубежья охотно причисляют себя к свите тех или иных писателей русского прошлого. При этом зачастую заблуждаются, причисляя себя как раз к таким большим поэтам и прозаикам, от которых они наиболее далеки. Подобное ошибочное «самоопределение» вызывается, конечно, естественным стремлением не к *сродному*, а именно к *инородному*: извечной тягой каждого человека к не ближнему, а к дальнему. К тому, что восполняет — и контрастирует, дополняет — и, притягивая, отталкивает.

Борис Нарциссов всегда подчеркивает свою близость к Бунину-стихотворцу и к Блоку. От Бунина — основной упор на глаз, на хищное видение, свойственное первочеловеку; от Блока — на звучащее, мелоди-

ческое слово, на ухо песнопевца-ведуна. Себя Нарциссов ставит где-то между ними, пожалуй, всё-таки несколько ближе к Ивану Бунину. Мне кажется, что здесь у Нарциссова скорее притяжение по противоположности, чем по творческому и эстетико-психологическому сродству. Борис Нарциссов много более современен, экспрессионистичен и даже сюрреалистичен. Его видение мира и его слышанье музыки мироздания равно далеки, по-моему, и от холодноватой, рассудочно-описательной поэзии Бунина и от тревожно-пророческующей и чутко улавливающей, но смутно передающей гул эпохи (и всеми корнями своими угнездившейся в прошлом веке) лирики Александра Блока. Скорее уж родственнее Нарциссову Николай Заболоцкий «Столбцов» и «Торжества Земледелия» и, пожалуй, новаторски-архаизированная ритмическая проза Алексея Ремизова. И, — надо сразу же сказать, что этих авторов Борис Нарциссов знает меньше, чем других. Здесь, видимо, сказывается скорее литературная общность, порождаемая не литературными влияниями и взаимовлияниями, а самой нашей весьма сюрреалистической эпохой. И эпохой крайне противоречивой: с ее тягой к объединению в большие федерации ранее вполне суверенных государств — и, одновременно, с ее стремлением к самоопределению и полному национальному отпочкованию минимальнейших племен и даже уездов...

Разве не родственен Ремизову порыв к московской узорчатой словесной вязи, скажем, в стихах «Из монастырской хроники» Нарциссова («Память», 1965, стр. 26):

Как некий живописец восхоте
Глумится над старцем чудотворцем,
Отай списа подобие иконы
И в дар святому старцу принесе.

Егда же старец, образ сей прия,
 Его в кивотце малом утверди,
 Сей изверг взем губу, сию исполнив
 Потайно соком теревинфчим,
 Списание с доски сотре,
 И, се, очам предста кромешный демон,
 Хулой рыкаяй из разверстой пасти.
 Рече же в окаянстве неразумный:
 «Молися, старче, адописным доскам!»
 Но старец отвеща: «Смирися, бесе!»
 И, се, бысть зрим на дщице ангел сокрушенный.
 Изограф же прия у старца постриг
 И бе отселе верный инок,
 Но в покаяньи кисти не касахся боле.

Славянизмы и церковно-славянизмы, областные слова и народные образы часты в стихах Нарциссова. Ноябрь у него новембрий; се, а не это; зреть, а не видеть; воскрыляя, вержет, убиенный — и даже целые измолитвенные фразы: «от юности мояя меня бороли страсти»; «из глубины возвах к Тебе»... И подобные слова и фразы сосуществуют со «смесью алкалоидов», «калориями, гормонами и витаминами», «фотонами» и «антиматерией», с математическими формулами и «театральной борной кислотой». Соседствуют с церковнославянщиной и научной терминологией и слова просторечья: очень, зацапать, сам-с-усам, наяривать, молонья — всего не перечтешь. И тут же — обильные неологизмы и слово- и фразообразования: «изгорбленный», «угластый» (и даже «угластые зеленыши» — некая сумеречная нежить, изобретенная поэтом), «синезвездный», «чихун», превосходные «лицеморды», «узластый» и с ними в обнимку весьма звукообразное о вампире, который «вентилиал в стрекотаторе». Нередки и непривычны, а потому свежи словосоединения типа «оглушительно-радужного рая», «ослепительного звука», или повеления: «вспетуши ты скажинное слово». Превосходны и наименования излюбленной в стихах Нарциссова нежити-нечисти: «размахаи»,

«Мигуев-Звездухин», «ведогонь», нечисти, посылающей нам, людям, «драконограммы». Даже «Рыбангелы» живут среди космических духов поэта и опекают четырехмерное царство-государство и его обитателей...

И вся эта нежить, вся эта населяющая нашу обычайную, вседневную жизнь нечисть — она сродни скорее не болотным попикам и чертенятам Блока, а чудикам и севшим на треугольник ведьмам «Столбцов». А если идти дальше и шире, то роднит Нарциссова с тем же Ремизовым «Посолони», с Гофманом и Эдгаром По, которому недаром Нарциссовым посвящены не только отдельные стихи, но и целый их цикл — «Эдгариана». Большую роль в стихах (и еще бóльшую в прозе) поэта имеют сны-сновиденья: здесь как бы перекличка с бесконечной вереницей сновидений-прозопоэм Ремизова.

Но всё это — сходство и сродство, а не школа и не направление. В своем творчестве Борис Нарциссов очень сам по себе, очень радуется «лица необщим выраженьем».

Сказывается, несомненно, и жизненный путь, и направление научных интересов, и сама профессия Нарциссова.

Борис Анатольевич Нарциссов родился в 1906 году в Саратовской губернии. Через несколько лет родители его (отец — русский, с Урала, мать — эстонка) переехали на север, в город Ямбург, Петербургской губернии, где и прошло детство поэта — до тринадцатилетнего возраста, когда родители от военных действий бежали на родину матери — в Эстонию. Образование Нарциссов получил в городе Тарту (б. Юрьев, Дерпт), окончив там русскую гимназию и химический факультет Тартуского университета со званием магистра химии. После окончания военного училища по специальности химической обороны был принят на службу в эстонскую армию офицером в должности

начальника газозащитной лаборатории. По окончании войны оказался «перемещенным лицом» в Германии, работая по специальности для Воздушных Сил США. В 1950 году эмигрировал в Австралию, где также работал по специальности в научно-исследовательском институте. В 1953 году переехал в США. Получил место химика-исследователя сначала при научном институте имени Баттелла, а потом при Библиотеке Конгресса. С 1971 года — в отставке; и занялся всецело литературной работой. Выпустил пять сборников стихов (см. библиографическую заметку в конце статьи); стихи также помещены в антологиях «Муза Диаспоры», «Содружество», «Чтец-Декламатор» (изд. Мартыянова). Стихи и проза публиковались также в «Новом журнале», «Гранях», «Возрождении», «Современнике», «Новом русском слове», «Русской мысли». Опубликованы также научные статьи и критические обзоры и статьи.

Впечатления детства в России и отрочества и юности в Эстонии, студенческих лет в Тарту, само участие Нарциссова в русском кружке поэтов в стране не-русского языка, но — при этом — языка его матери, — всё это отразилось на особом, и изнутри — и несколько как бы со стороны — отношении Нарциссова к русскому языку его стихов и прозы. А стихи он начал писать еще в Эстонии, еще в студенческие годы. К тем же временам относятся его первые публикации стихов. Это двойственное видение и слышанье русского языка и привело, в числе прочих причин, к тому *свежему* и непривычному (а потому и интересному: ведь обычное — стерто и затерто, не задевает уже нашего сознания) использованию словесных возможностей языка, какое сразу же ощущается в стихах и в прозе Нарциссова.

Стихи Нарциссова очень зримо-вещны и, вместе с тем, зачастую предельно-контрастно инструментованы. Как будто Нарциссову жалко расстаться с пением

валторн (звук а), тромбонами о и флейтами-пикколо пронзительных и въедчивых и. И мычанье контрабасов и контрфаготов **мы, ны, лы**, которые в свое время так раздражали итальяномана Батюшкова, превосходно использовано в оркестровке стихов Нарцисова. Он, поэт, не только инструментует, но и нежно пестует и ласкает все эти звуки, и они вырастают в звукообразы, слышимые и зримые до осязательности (сам поэт часто говорил мне о том, как по-разному окрашиваются звуки музыки и звуки стихотворного напева ямбов или хореев, анапестов или гекзаметров в его сознании). Вот, скажем, его «Сказка» (Стихи, 1958, стр. 37):

Как сказнили русалоча милова,
Королевича северных стран,
Над рекой ни одной не помиловал,
Все ракиты заплакал туман.

Палачу от царя удовольствие,
Позумент на кафтан и почет.
Он получит за то продовольствие,
Что секирой по шее сечет.

За избою река поворотами,
И в избе на полатях палач.
Иссуши же его приворотами,
Отомсти, водяная, не плачь!

Остеклень от луны,
И овсы холодны.
Замани его в синь тишины.

А в избе-то тепло,
Запотело стекло:
На полатях палач Пал Палыч

Доедает калач
Под плач
Русалоч.

И в другой «Сказке», прямо предшествующей приведенной нами выше, звенят и гукают «среброзвонные лягушки» и «сухим дождем» заливаются «ручные цикады в клетке»...

В стихах Нарциссова множество находок и ярких, очень народных и вместе с тем очень незаигранных, своеобразных образов:

...И пусто, холодно и бледно
В стеклянно-плотной синеве...

Или:

...Хочет сказать про звезду
Ломким стеклянным голосом
Птица в продрогшем саду. («Стихи», стр. 10 и 51).

Здесь интересно отметить, что образ «стеклянный» относится в одном случае к зрительным, а в другом — к слуховым ощущениям.

Образы эти — чаще всего не из романтического или классического далека, а из вседневности: они обычайны по лексике и необычны или кажутся такими — в стихах:

...Вот свеча золотым цветком
Распустилась в сумраке сером. («Память», 1965, стр. 14).

Вот образ и звукообраз бури («Подъем», 1969, стр.19):

...Облака глубоки,
А дубы, как быки,
И ревут, и мычат над кустами,
И стегают по ветру хвостами...

...Коли жизнь дорога,
Так рога на врага —
Коли буря хватает арканом,
Набодается дуб с ураганом!

Жизнь бросала поэта из Прибалтики — в Германию военного безвременья и тусклых первых послевоенных лет; из Германии — в Австралию, затем — по городам Америки... И все эти странствия напластовались неким ступенчатым сбросом на пейзажной лирике Бориса Нарциссова, и на широте его интересов: химическая технология — и лингвистика, садоводство и цветоводство — и мистика, антропология — и философия. В своих рассказах и статьях Нарциссов может от Атлантиды легко переброситься к передаче сновидений, от эроса — к математическим символам бесконечности, от праистории — к правилам шахматной игры. И так же и в стихах. Но сквозь густую плоть ароматов австралийских эвкалиптов и сквозь многоэтажные зонтики араукарий всегда почти — таково свойство нашей памяти и прапамяти — проступают, как на палимпсесте, — янтарноствольные сосны Прибалтики, шелковый и мягкий, тончайший, как палевая пудра брюнеток, прибрежный песок Эстонии, светлое, не наглое, нежное небо севера...

Корою красной светит бор сосновый
И мелкий ельник — яркий изумруд.
Круги седые паутин с основной
Упругой вздрогнут в ветре и замрут.
Всё тихо. Только шорох быстрой белки,
Да вот малиновый капорский чай
Качнется и наклонит стрелки,
В стремительном полете невзначай
Задетый шелестящей стрекозою.
И снова тихо. С рыжего ствола
Спускается янтарною слезою
Из трещины пахучая смола. («Шахматы», 1974, стр. 35).

Мир Нарциссова — всегда живой или, по крайней мере, насквозь проживленный (и камни поют, и деревья живут) антропоморфный мир, скорее, не христианина (хотя сам Борис Нарциссов — православный), а славо-финна языческой древности. И это — не стилизация, а непосредственное мироощущение поэта.

Да, впрочем, сколько в нашем, российском обиходе этих реминисценций «поэтического воззрения славян на природу», как мечтательно геллертствовал об этом Афанасьев! Нас окружают у Нарциссова очеловеченные печной и самоварный угар, домовые, пыльники, размахай, русалочий люд и чертячий блуд:

У болота сбываются небыли,
Из-под жабника вылезут нежити...
А вода — то ль тряси́на, то небо ли:
Облака отраженные нежатся...

...А туман обволакивал ватою
Неприкаянных, тонущих с воплями,
И светили огни синеватые
Из воды проступавшим утопленным.

(«Подъем», 1969, стр. 13).

Да и не только в болотах и лесной глухомани, не только в высоком небе звездных скопищ, где

...лики въяве узрим мы в ночи
Твоих многоочитых серафимов,
Да выйдет солнце пламенем свечи..., —

(«Подъем», 1969, стр. 36).

— не только *вовне*, но и в самом *Я*, в самом поэте — не только *я*, но и *ты*, но и *Ты*, но и *мы*, ибо немало в нем — и в нас, и с ним, и с нами — двойников: недаром образ зеркала и зазеркалья тревожит поэта; недаром сама *память* для него — это целый мир миров и мирков, радостных — и трагических, чистейших — и с грязнотцей (все ведь мы грешные — и грехами утешаемся!):

Заглянул к себе в подвал, —
А оттуда — скверной сыростью...
Я давно их не топтал:
Вот, успели снова вырасти...

...Притаились, пауки!
Не моргнут глаза их кроличьи...
Все, как будто, двойники,
Все Борисы Анатольичи.

(«Память», 1965, стр. 19).

Ну и помимо нашего (чаще всего грешного, а то и с грязнотцой) подсознания, больше всего нежити — в домах, в домашнем житье-бытье: благоуветливом на поверхности и страшном, ежели взглядеться в него поглубже. Тут и вампиры-сосатели с небритыми давно бородами простообывателей — «подколесная тень, схожий с крысою сам»; тут и «населяющие старый чердак» «пыльники, пауки и свещеглазники»:

...Третьесортная нечисть, грязненькая
И страшная не так. («Стихи», стр. 33).

Тут и ядовитый старик — самый наиреальнейший, всеми позабытый и мучимый недугом; отравившийся — с тем, чтобы стать после смерти от яду мелким, досадливым нечистиком: и —

...он с тех пор исправно
Синел в отхожем месте,
И наслаждался явно
Своей нехитрой мезью.
(«Память», стр. 15).

И в нашем домовье, и в нашем сознании, а особливо в нашем подсознании — всюду живут и нас всемерно опутывают липкой паутиной душевного мелкого греховодья, такого мелкого — и не заметишь! — и такого липкого — не отвяжешься! — размахай и размахайчики:

По пустым чердакам,
По углам нежилым,
Гонит он паукам
Их мушиный калым.
А потом разойдется, взметнется и пляшет,
И мучными мешками по сумеркам машет.
Так от пыли тогда хоть чихай, не чихай:
Самый страшный из всех — господин Размахай.

А какой из себя?
 И не пробуй смотреть:
 Над душою скребя,
 Будет в четверть и треть
 Он в тебя заползать, мельтешить и мотать,
 Как белесый, заспинный, украдчивый тать,
 Так, как будто пустяк: всё чихун да смешки,
 Ан, глядишь, ты и сам — как мучные мешки.

(«Подъем», стр. 14).

Может статься, это только двойники, может быть, это — только лунные отбросы нашей темной подпольной души? А может быть, и реально живут они и в нас, и вне нас — эти размахайи и палачи Пал Палычи, свещеглазники и пыльники? И было бы интересно, но и бесперспективно-безоглядно, если бы поэзия (и проза, еще более сюрреалистическая у Нарциссова, проза, в которой сонь и явь, подсознание, сознание и надсознание так перемешаны и слиты в нераздельную неслиянность, что бытие перестает быть эвклидовым) Нарциссова не нашла себе выхода из утомительной духовно не преодоленной реальной нереальности — только видимости:

Я заблудился в запредельных странах,
 И мной, безвольным, овладели сны, —

повествует поэт («Голоса», 1961, стр. 22). Поэт понимает, что вещь может стать погибельной, если она не осенена «белоперыми крыльями» духа:

...Но телесные пути опасны:
 Душной кровью туманится дух,
 И над плотью, желанной и страстной,
 Снег колеблет свой синий воздух.

(«К портрету Блока», «Голоса», стр. 13).

И поэт слышит «призыв из глубины», и пусть «...молчанье вяжет паутиной липкой дом», но есть прорыв этой паутины — прорыв поэта в Неизреченное, в Вечное. Он — в Церкви. Пусть кремнист путь, пусть липка и неотвязна паутина вседневности, пусть наши

чугуннотяжкие ноги притягивают нас к кровавой и необоженной земле, но есть узкий — как на острие бритвы — путь в Вышнее.

Правда, иногда у поэта и путь в Церковь облекается в легендарную óттенъ — как, например, в приметном стихотворении о двух солдатах, чуть ли ни ангелах, попросивших старого, немощного священника, всего боящегося (времена-то аредовы) отслужить панихидку по рабе убиенном — Николае. Это о царе-то! —

...А когда он прибрал Евангелье
И престол пеленой покрыл,
Темный купол два Божьих ангела
Осветили взмахами крыл.

(«Стихи», стр. 67).

Но иной раз на напластованья легенд и языческой прапамяти набегает и русско-византийская золотая муся исконного православия и какой-то успокоенной — почти классической — яснодуховности, особенно в наиболее близкой к совершенности и завершенности пятой книге поэта — в «Шахматах» (1974). В ней поэт как-то отаминился от размахаев и шумного дрызга и гулкой тишины вседневности и вампирьих ночей. И в первой книге у Нарциссова нет-нет, да и мелькало уже пушкинское оптимистически-трагическое, но светлое, хотя бы и в нощи:

...В такие дни скорей понятен
Закон земных враждебных пут.
В такие ночи резче внятен
Неотвратимый счет минут.

(«Стихи», стр. 15).

И поэт видел сквозь «пульс горячечно-тревожный» вневременных секунд, становящихся временем лишь в соитии с Вечностью, что —

...выход здесь равняется свободе:
Пускай в провал, но всё-таки — полет.

Полет в стремительную неизвестность...
(«Стихи», стр. 24).

Поэт долго «выворачивал» и мир, и свой «мозг на испод», но выход из отчаяния предельного скепсиса, из отчаянья предвечерья Страшного Суда (апокалипсическая тема сильна во многих стихах Нарциссова) уже намечается. Да, конечно, этот выход — не в поэзии: она, в лучшем случае, может только как-то подвести к преддверию веры и целокупного сознания. Но — ведь подводит же в отдельные мгновенья церковного богослужения нас наш дух к Предвечному. В последней книге уже нет нечисти и нежити. Эта книга — просветленнее, умиротвореннее, духовнее, отнюдь не теряя своей плотности (но ведь и христианство — в противовес платонизму — говорит о воскрешении во плоти!):

Я отравлен, точно трупным ядом,
Злобою своею и чужой.
Ближний мой! Не стой со мною рядом —
Ты и я — тлетворны мы душой!

Я устал скрывать и ненавидеть,
Но другой дороги не найду:
Только Ты бы мог сказать: «Изыди
Из своей могилы на ходу!»

Дым кадильный и слова канона...
Но помогут ли и как спасут?
Византийского письма икона —
Строгий лик вещает строгий суд.

Всё ушло: расколы и витии,
Но остался Незакатный Свет.
Через храмы тяжелой Византии
Путь ведет в Твой бедный Назарет.

И пускай на миг, но я светлею:
 Я в дыму кадильном, точно сон,
 Голубой, как небо Галилеи,
 Вижу Твой синенущий хитон. («Шахматы», стр. 10).

Разве не вспоминаются при чтении этого стихотворения, может статья, и более обычного, более скромного по изобразительным средствам, чем стихи о чудиках и нежити Нарциссова, — разве не припоминаются слова о. Павла Флоренского о Троице Андрея Рублева, иконе, которая своей Предвечной Лазурью, прорывающейся в наш дольний мир из самых недр Божественной Полноты, больше говорит нам о тайне тайн Троицы-Единицы, чем самые изощренные богословские умствования?

В той же, последней пока что, книге Бориса Нарциссова два буквально чуда. Это — два стихотворения большого эстонского поэта Алексиса Раннита, переведенные Нарциссовым так совершенно, что они стали не только переводами, хотя бы и первоклассными, но и фактами большой русской поэзии. До сих пор, пожалуй, только Жуковский умел делать *перевод* — и переводом, и значительнейшим явлением русской литературы. И, вместе с тем, как свидетельствуют и сам автор, и сам переводчик, — соблюдена максимально-возможная верность эстонскому оригиналу. Вот одно из этих стихотворений:

О Т Р Е Ш Е Н И Е

Тихо, в безветрии ночью листва опадает на травы.
 Точно касается дождь чутко уснувшей земли.
 Первый призыв тишины. И последняя жалоба ветра.
 Лист, говоришь ты с листом? Или с собою, душа?
 Падают листья. И вижу, как месяц на хрупкой рябине
 Точно в рубашке дитя, тощее, в ветках сидит.
 Смотрит оттуда, как мёртвый. Из дали глаза остеклянил.
 Губы скривил и молчит. Машет мне белой рукой.

В замкнутом круге брожу я. В блужданье безвыходность давит.
 Ночь — безысходный тупик. Только остались одни
 Листьев, как птиц, переклички. И песнь обречённой цикады.
 Путь отрешения, рок. Зов совершенного — смерть.

(«Шахматы», 1974, стр. 34)

И здесь также, несмотря на видимое безысходное содержание, — внутренняя, может статься, не евангельская, но библейская успокоенность праотцев, которые, исполнившись полнотою жизни, приложились земле. Здесь тоже — иное видение мира, жизни и смерти. Все — единое и многое, все — нераздельная полнота бытия. И та редкая в русской поэзии пушкинская светлая печаль, о которой наш первый поэт сказал:

Мне грустно и легко; печаль моя светла...

И благо тому поэту, стихи которого — хотя бы иногда — заставляют припомнить Пушкина и его светлую печаль.

Борис Нарциссов — поэт ни на кого в русском зарубежье не похожий. О советских поэтах нашего сегодня, увы, говорить не хочется: они живут еще в прошлом веке, что-то около добролюбовских виршеплетных лет. И даже их новаторы — не пошли дальше 1908 года. Не их вина, а их беда. Но и в русском зарубежье, кроме Нарциссова, ищут новые пути немногие: Ирина Бушман, Олег Ильинский, Иван Буркин, Игорь Чиннов. Пожалуй, это и всё. Или почти всё.

А если и искать у Нарциссова родственников — то скорее (исключая раннего Заболоцкого и парижанина — покойного Юрия Одарченко, до сих пор недостаточно оцененного) не в стихах, а в прозе: в первую очередь это Алексей Ремизов. А из предков Нарциссова — авторы староверческих Цветников и, пожалуй, Гоголь. Но ведь это — не генеалогия, не родство, а лишь сродство душ. Не ученичество, а близость пути. Залогом же добротности этого пути служат — в основном — не язык, не составные вкусные рифмы,

которыми часто радуется поэт, не даже свежие и неожиданные подчас образы, а всё просветляющаяся от книги к книге душевная теплота и полнота. А это — главное.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

КНИГИ БОРИСА НАРЦИССОВА

1. «Стихи». Издание автора. Нью-Йорк, 1958, 96 стр.
2. «Голоса». Вторая книга стихов. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1961, 48 стр.
3. «Память». Третья книга стихов. Изд-во «Русская Книга», Вашингтон, 1965, 48 стр.
4. «Подъем». Четвертая книга стихов. Изд. автора. Вашингтон, 1969, 47 стр.
5. «Шахматы». Пятая книга стихов. Изд. автора. Вашингтон, 1974, 63 стр.

ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКАХ И АЛЬМАНАХАХ

1. «Муза Диаспоры». Под ред. Ю. К. Терапиано. Изд-во «Посев», 1960.
2. «Чтец-Декламатор». Изд. Мартьянова, Нью-Йорк, 1964.
3. «Содружество». Из современной поэзии русского зарубежья. Составитель и редактор Т. П. Фесенко. Изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1966.

ПУБЛИКАЦИИ СТИХОВ В ЖУРНАЛАХ

4. «Возрождение». Париж: в №№ 200(1968), 214(1969), 229(1971).
5. «Грани». Франкфурт-на-Майне: в №№ 21(1954), 25(1955), 31(1956), 44(1959), 45(1960), 53(1963), 55(1964), 57(1965).
6. «Новый Журнал». Нью-Йорк: в №№ 109(1972), 113(1973).
7. «Современник». Торонто: в № 22-23(1971).

ПУБЛИКАЦИИ СТИХОВ В ГАЗЕТАХ

8. «Новое Русское Слово». Нью-Йорк, 1953 — 1974 гг.
9. «Русская Мысль». Париж. 1971 — 1973 гг.

ПУБЛИКАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ, СТАТЕЙ,
ОЧЕРКОВ И РЕЦЕНЗИЙ В ЖУРНАЛАХ И ГАЗЕТАХ:

10. «Возрождение», в №№ 188(1967), 195(1968), 204(1968), 210(1969), 223(1970).
11. «Грани», в №№ 49(1961), 50(1961).
12. «Новый Журнал», в №№ 107(1972), 111(1973), 114(1974), 118(1975).
13. «Русская Мысль», 30 июля 1970.
14. «Современник», №№ 20-21(1970).

Значительное количество научных статей и очерков и статей литературно-критических было опубликовано в «Новом Русском Слове».

ПЕРЕВОДЫ СТИХОВ НАРЦИССОВА
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:

America's Russian Poets. Edited and translated by R. H. Morrison. «Ardis» Publishers, Ann Arbor, Mich., 1975.

И. ШЁНФЕЛЬД

О ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЕ В СССР

*«Воспаленной губой припади и попей
из реки по имени — «Факт»...*

Вл. Маяковский. «Хорошо»

В последние годы, как в советской печати, так и в публичных выступлениях литчиновников, регулярно отмечался небывалый рост документальной литературы. Некоторые критики заговорили даже о «документальном взрыве», определив тяготение к документализму как характерную черту современного литературного процесса в СССР. Социологические исследования и подсчеты свидетельствуют о том, что документальные произведения пользуются бóльшим успехом, нежели традиционная беллетристика. Иногда даже только формальная ссылка на документальный характер произведения вызывает усиленный интерес и повышенный читательский спрос. Началось это во время непродолжительной хрущевской оттепели, когда в результате многочисленных разоблачений чудовищных преступлений сталинской эпохи была девальвирована вся подмалеванная литература того периода, изобиловавшая искажениями и натяжками. Именно тогда обострился интерес к сведениям подлинным и объективным, к достоверному факту и документу, а пережитые в недавнем прошлом ужасы и трагедии усилили тягу

к правдивому, документальному воспроизведению памятных событий. Подлинные факты жизни превосходили своим драматизмом любой вымысел писателя. Свидетельства очевидцев и непосредственных жертв террора, пусть и смягченные по цензурным соображениям, потрясали воображение читателя. Одновременно началось возрождение и документального очерка на колхозные темы. В. Овечкин, Е. Дорош, В. Тендряков и другие начали пристально анализировать причины полного развала сельского хозяйства, смело вмешиваясь в жизнь и не боясь затрагивать тему-табу — неэффективность устоявшихся форм партийного руководства сельским хозяйством.

Мало-помалу документально-публицистические приемы, присущие очерку, начали проникать в повести, романы, драмы, эпические поэмы. Произошла трансформация многих литературно-художественных жанров, началась массовая мимикрия беллетристики «под документ». Документальность подчеркивалась введением в художественную ткань произведений всевозможных воззваний, приказов, телеграмм, газетных материалов, протоколов заседаний и т. д.

Всё это отнюдь не было столь уж большим новшеством в истории развития литературного процесса в СССР. Попросту был забыт горький и поучительный опыт литературных групп ЛЕФ (Левый фронт искусства), существовавших в 1922-1929 годах и возглавлявшихся В. Маяковским и репрессированным позднее С. Третьяковым. Лефовцы провозгласили теорию «литературы факта» знаменем искусства, отрицали художественный вымысел и требовали освещения действительности без всяких беллетристических искажений. Неудивительно, что лефовцы подвергались постоянным нападкам, дабы в конце концов, после самоубийства Маяковского, полностью раствориться в РАППе.

Этой исторической аналогией можно объяснить,

почему гальванизированный жанр документализма и на этот раз столь быстро отошел от подлинной «правды факта», которая зачастую вступала в противоречие с заданностью схемы и партийным заказом. Что ж, «тем хуже для фактов!» — и начался возврат к догматическому, по заданным прописям, толкованию событий, к пересмотру известных исторических фактов и даже к их препарированию. Плачевные результаты не замедлили сказаться.

Несколько лет назад казанский критик Рафаэль Мустафин опубликовал полученное им письмо от работницы местного завода, Галины Гриценко, которая недоумевала:

«...Вообще документальные книги пользуются спросом. Как-то у нас на заводе возник спор: может ли писатель в документальном произведении что-то присочинить от себя? Иногда читаешь книгу, написано: «Документальная повесть». Читаешь с интересом и вдруг замечаешь явную выдумку, то, чего в действительности никак не могло быть. И сразу пропадает доверие. Порой дальше и читать не хочется. В Вашей книге («По следам поэта-героя». — И. Ш.) мне понравилось то, что каждый факт подкреплён документально. Но в некоторых местах своей книги Вы показываете мысли Джалиля (Джалиль Муса, татарский поэт, казненный в Берлине в 1944 г. — И. Ш.), даже его сон. Что это? Вымысел? Если можно допускать фантазию в документальных книгах, то где же граница между документальной и чисто художественной книгой? Другой раз даже пишут: «Художественная документалистика». Как это понимать?..»¹

На резонные вопросы работницы Мустафин не ответил прямо, а начал со статистической справки:

«В 1964 году сотрудники Киевского университета обратились в городские библиотеки с просьбой провести на протяжении шести месяцев учет, какие книги пользуются наибольшим спросом. Выяснилось, что свыше 60 процентов книг, больше всего полюбившихся читателям, принадлежат к документальной литературе».

¹ «Литературное обозрение», № 1, 1973, стр. 102-105. Рафаэль М у с т а ф и н, «Из реки по имени факт».

А далее Мустафин сослался на мнение писателя С. Залыгина, который верно подметил, что столь сильное увлечение документальной литературой вызвано плачевным состоянием советской средней, массовой беллетристики. Скомпрометировала она себя во многом перепевами одних и тех же мотивов, повторением ставших уже шаблонными сюжетных ходов и решений. Кроме того, объяснял автор «Соленой пяди», в последние десятилетия в сознании читателя произошел перелом, вызванный потребностью «в фактах первичных, как таковых, наименее искаженных авторским субъективизмом, но подкрепленных его знаниями, его интеллектом»². Впрочем, это определение вызвало негодование Иосифа Гринберга, критика ортодоксального толка, который увидел в нем принижение роли традиционной художественной литературы.

Однако Мустафин, признав суждения Залыгина справедливыми, отметил, что в понятие «документальная литература» разные люди вкладывают разное содержание, а документ в юридическом смысле и документ в литературе — это разные понятия.

Здесь сто́ит заметить, что соотношение документальной основы и писательского вымысла, особенно в историческом романе, давно привлекало внимание советских (да и не только советских) литературоведов. Василий Ян, автор замечательной исторической трилогии «Нашествие Монголов» («Чингис-хан», «Батый» и «К последнему морю»), рассуждая о проблемах исторического романа, писал, что «грош цена тому историческому произведению, которое извращает точно установленные факты, даты и зафиксированные на страницах документов слова, выражения, детали событий, быта и пр. описываемой эпохи». Примеров такого подхода к истории было в Советском

² «Вопросы литературы», № 2, 1970, стр. 43-52. Сергей З а л ы г и н, «Черты документалистики».

Союзе всегда вдоволь. В книге А. Костина «На заре Руси» русские дружины воюют с народами, которых в то время не было и близко у границ Руси, заключают союзы с племенами, еще не соседствовавшими с «руссами», а герои обитают в несуществовавших тогда городах. Писатель И. Билык в своем романе «Меч Арея» перепутал галлов с галичанами, гуннов со славянами, а предводителя гуннов Аттилу представил в лице киевского князя Богдана Гатило. А сколько усилий стоило В. Костылеву, автору трилогии «Иван Грозный», и Алексею Толстому, автору драматической дилогии под тем же названием, в угоду Сталину идеализировать образ Грозного, изображая его царем, дела которого всецело подчинены интересам народа, несмотря на закрепощение им крестьянства. Но мало кому известно, что, например, популярную историко-бытовую хронику «Амур-батюшка» о русской колонизации Восточной Сибири и Дальнего Востока автор, Николай Задорнов, населил множеством персонажей, среди которых нет ни одного, имеющего конкретный исторический прототип. Да к тому же сам Задорнов ставил себе в заслугу, что он ни одним историческим документом не пользовался. И скорее можно о нем сказать, что он писал не исторический роман, а создавал легенду о добрых пришельцах с Запада, которые не вытесняли и не порабощали коренное население, а лишь, помня о своей прогрессивной культурной миссии, приносили им дружбу и счастье, совсем так же, как без малого сто лет спустя Красная армия осчастливила народы прибалтийских стран.

Более десятилетия назад В. Кардин в своей шумевшей статье «Легенды и факты» («Новый мир», № 2, 1966) сказал, что факты обладают свойством обростать легендами. И добавил:

«Нередко исторический факт — пусть голый и непритязательный — дороже, нужнее, чем великолепная сказка, в какую

он оброс. Это в тех, видно, случаях, когда за реальным фактом — реальность народной судьбы».

Этим он и объяснял нынешний интерес к документальным свидетельствам. И прежде чем начать развенчивать наиболее живучие советские легенды: о «залпе Авроры», о подвиге Александра Матросова, о двадцати восьми героях-панфиловцах и т. д., Кардин ловко оградил себя от суровой расправы, сославшись на впервые опубликованное в 1965 году письмо Ленина, где было сказано: «Нам нужна полная и правдивая (выделено Лениным. — И. Ш.) информация. А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить»³.

И Кардин энергично включился в дискуссию о документальной литературе. Рассмотрев природу столь модных ныне «взрывов» в литературе: «информационный взрыв», «мемуарный», «документальный», — критик установил их родство по признаку тяготения к факту. Как всегда у Кардина, суждения его резки, ирония беспощадна, примеры убийственны:

«Человек предъявил к искусству дополнительные требования. Но в состоянии ли оно какую-то часть информации поставлять в своих исконных формах?

Да, утилитарность, доступность, оперативность. Но не упрощенчество, не вульгарная популяризация. «Одного гена звали Вася...», «Бабуся попала в зону вибрации...», «Рсботы проводили состязания по бегу...».

Вот эти, определенные временем требования к слову, и подготовили «взрыв» — родилась документальная литература»⁴.

Среди книг, задающих тон в документальной литературе, Кардин ставит на первое место «Брестскую крепость» С. С. Смирнова, о которой он уже в очерке «Легенды и факты» писал, что это был гражданский

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 446.

⁴ «Дружба народов», № 11, 1976, стр. 246-259. В. Кардин. «Взрыв» и волна «взрывная». Заметки о документальной литературе.

подвиг автора, вернувшего родине десятки имен ее героев, восстановившего эпопею Бреста. По мнению Кардина, жанр документальной литературы, «обращенный к военному времени, поистине неистощим и не подвержен старению». И тут всплыла главная проблема: «документ и вымысел, их взаимозависимость, взаимоотношение, объективность факта и субъективность художника». Отправным пунктом рассуждений послужила Кардину статья писателя Юлиана Семенова «А был ли Штирлиц?» («Литературная газета», № 3, 1976), в которой автор отстаивал право писателя-документалиста на вымысел. Уместно напомнить, что Максим Максимович Исаев-Штирлиц — это герой многочисленных шпионских детективов, бравый чекист, которому под личиной гитлеровского офицера удаются самые дерзкие акции. Снятые на основе этих книг многосерийные телевизионные фильмы («Майор Вихрь», «Семнадцать мгновений весны») придали этой фигуре реальные черты и способствовали еще большему росту ее популярности.

В своей статье Семенов называет реальных людей, послуживших ему прототипами Исаева-Штирлица, и говорит о работе над архивными источниками, давшими первооснову его романам. Кардин анализирует суждения Семенова:

«Ю. Семенов уточняет жанр собственных романов о Штирлице. В аннотации они именуется «документальными», в статье же автор предпочитает определение «историко-политические». Таким образом, устанавливаются законы, по которым надлежит определять соотношение между выдуманным и документально безусловным, определять не отвлеченно, а применительно к конкретной историко-политической ситуации.

Заповедь — не доказано, что было, но и не доказано, что не было — применима здесь с полным, думается, основанием. Имеются в виду случаи, когда документально не подтвержденный либо подтвержденный косвенно, однако и не опровергнутый факт психологически логичен, сюжетно неизбежен, вероятен исторически.

В романе «Майор Вихрь» советские разведчики и польские партизаны срывают гитлеровский план уничтожения Кракова. И хотя события разворачиваются на грани фантастики, история «работает» на писателя. Как известно, нацистам не удалось взорвать Краков»⁵.

В подтверждение событий другого своего романа — «Семнадцать мгновений весны» — Ю. Семенов ссылается на переписку И. Сталина с Ф. Рузвельтом. Правда, в ней говорится лишь о наших информаторах, а Штирлиц не только информирует, он деятельно препятствует сепаратным переговорам между главарями третьего рейха и некоторыми представителями военно-политической верхушки США.

Иначе обстоит дело с первым романом документальной трилогии «Тайная война Максима Максимовича Исаева» — с «Испанским вариантом».

Мы увлеченно следим за дерзкими приключениями, понимая — детектив (значит, вымысел неизбежен), мы готовы поверить, верим, что Исаеву, скрывающемуся при штабе Франко под личиной эсэсовского офицера Штирлица, удастся сверхдерзкая затея — угон скоростного гитлеровского самолета. Мы готовы простить писателю частную неточность: штаб Франко помешался тогда не в Бургосе, а в Толедо, в Бургосе сидело франкистское правительство. Мы готовы, правда, не без усилий, подыскать аргументы в оправдание Исаева, пальцем не шевельнувшего, чтобы помочь в беде испанской армии: дескать, задание, дескать, дисциплина... Тем паче, автор не скупится на документальные подтверждения. И если некоторые из них, очевидно, стилизованы, что не возбраняется условиями игры, то другие близки к подлинным.

Сам по себе факт (захват и угон «мессершмитта») при всей его невероятности не исключен. Не он ставится под сомнение, а его смысл, смысл поступка, поведения Штирлица. Сомнения порождены самой историей, документами и сведениями, которые она щедро предоставляет в наше распоряжение. Документы эти не

⁵ Так сложились обстоятельства, что летом 1965 года я встретился с Юлианом Семеновым в Кракове, когда он впервые этот город посетил. Он был поражен тем, что эта старинная столица не пострадала от военных действий и сохранила все свои архитектурные памятники. Узнав от меня, что немцы отдали Краков войскам маршала Конева без боя, он сразу вслух начал строить сюжет, который лег позже в основу «Майора Вихря». После выхода в свет этого романа легенда о чудесном спасении заминированного Кракова начала самостоятельную жизнь. Во всяком случае, жителям Кракова до того времени ничего не было известно о том, что их город был заминирован. — И. Ш.

снабжены грифом «секретно», «совершенно секретно», не покоятся за толстыми стенами сейфов. Любой интересующийся историко-политической ситуацией в канун и в начале второй мировой войны ими не пренебрежет. А воспользовавшись, сравнит с «Испанским вариантом».

Здесь Кардин отсылает читателя к газете «Правда» от 15 апреля 1975 года, где под рубрикой «Навечно в памяти народной» напечатано интервью со знаменитым авиаконструктором, генерал-полковником Александром Яковлевым. Оказывается, что сразу после подписания пакта Риббентроп-Молотов, в период самой горячей дружбы между Сталиным и Гитлером, обе страны, желая эту дружбу еще более закрепить, открыли взаимно многие свои тайны. Выясняется, что Яковлев трижды побывал в гитлеровской Германии, видел все типы «мессершмиттов» на земле, в воздухе и даже в процессе их производства. В «Правде» он заявил: «Посмотрели мы производство истребителей ME-110 и HE-100, бомбардировщиков Ju-87 и Ju-88. Мы тогда — речь идет об октябре 1939 года — еще не знали, что до вероломного нападения Германии на Советский Союз оставалось всего полтора года». И Кардин справедливо спрашивает:

«Выходит, Исаев-Штирлиц рисковал, шел на жертвы напрасно, без пользы для дела?

Или затея с похищением «мессершмитта», равно как и подкрепляющие ее документы, — плод авторской фантазии? Все-таки факты и источники должны выглядеть более убедительно в историко-политическом романе, возводимом, как подчеркивает автор, на документальном фундаменте, претендующем на верность исторической реальности» (там же).

И Кардин резюмирует:

«При всей своей специфичности, характерных и знаменательных особенностях документальная литература подчинена закономерностям литературы художественной. Суверенным законодательством она не располагает» (там же).

В советской драматургии последних лет всё чаще и чаще начали появляться исторические документальные драмы. Пьеса Д. Аля под громким названием «Правду! Ничего, кроме правды!» призвана была определить новую направленность в развитии советского театра. Характерные для документальной драмы публицистичность и концептуальность скоро проявились и в пьесах на исторические темы — «Декабристы» Л. Зорина, «Народовольцы» А. Свободина. Но тем, чем стал Юлиан Семенов в области документального историко-политического детектива, тем в области документальной драмы является Михаил Шатров, решивший обогатить сценическую лениниану. Его пьеса «Шестое июля», поставленная в 1964 году театром «Современник», воспроизводила с точностью до минуты роковые события 6 июля 1918 года: принятие 5-м съездом Советов решения о мирном договоре с Германией, выступление левых эсеров, убийство германского посла Мирбаха, задержание мятежниками Дзержинского и прочее. Другая пьеса Шатрова «Тридцатое августа. Большевики» фиксирует всё происходившее в день покушения Фанни Каплан на жизнь Ленина. Обе пьесы написаны будто бы по документам, но судя по тому, как препарированы факты, как урезано ближайшее окружение Ленина, автор, скорее всего, опирался на сталинский «Краткий курс истории ВКП(б)». Но уже после первых успехов критика забила отбой, отметив, что у Шатрова «событийность нередко вступает в противоречие с психологизмом». Автора упрекали также в «смещении исторических масштабов действия в пьесе», ибо силой фактов на первый план выдвигается лидер левых эсеров Мария Спиридонова. Что же касается второй пьесы, то Шатрова упрекнули в злоупотреблении историческими экскурсами и параллелями в открытой перекличке изображенных им событий с фактами французской революции. Ему поставили в вину, что он недостаточно раскрыл «направляю-

щую волю и разум вождя», а также «гнев и ненависть народа, размах его борьбы и силу обуревавших его чувств в момент наивысшей опасности, нависшей над партией».

Под градом парадоксальных упреков в забвении «правды факта» во имя заданной схемы Шатров оставил попытки модернизировать прошлое и решил откликнуться на злободневные проблемы современности. Не отказываясь от сценического новаторства, он пишет пьесу «Погода на завтра», определив ее как «репортаж с места событий в диалогах, письмах, телеграммах и других документах». В начале каждой картины с хронометрической точностью указано время: 07 час. 10 мин., или 08 час. 30 мин. А содержание пьесы самое простое: коллектив рабочих крупного автозавода должен, невзирая на неполадки в работе, выпустить в определенный срок пятисоттысячный автомобиль.

И опять, конечно, постановкам сопутствовал большой успех, газеты печатали похвальные рецензии, но вот пьесу решил проанализировать всё тот же дошный В. Кардин. И обнаружил он в ней много интересного:

«Воспроизводимые в ней (пьесе — И. Ш.) личные письма-монологи, сообщения с узла связи вполне убедительны. Телеграммы — хоть подкалывай к бухгалтерскому отчету... В пьесе подчеркивается роль социологии, значение дружбы народов, платится дань фронтовому прошлому, говорится о вреде пьянства и пользе просвещения, о борьбе со злоупотреблениями в Грузии, о халтурщиках — концертных гастролерах... Всё это, по справедливой мысли драматурга, имеет то или иное касательство к научно-технической революции. Как и словарный строй... Круг служебных обязанностей определяет кругозор героев пьесы-репортажа, духовный потолок каждого.

У бригадира молодежной бригады Соболовой, по кличке Мама Римма, устремления самые лучшие, представления передовые. Только чуть-чуть примитивные: «Как что — в партком бежим: квартиру, детсад, столовая, мужик ушел... Это всё нормально...» Из материнских чувств Мама Римма может в условиях НТР и по

физиономии съездить. Селезнева же, рядовой член бригады, рукоприкладством не грешит, зато агрессивна в проповедях: «Когда люди делают добро, а сами в это время про себя думают, за это убивать надо. Дали бы мне пулеметик».

Научно-технический прогресс пьеса местами сводит к научно-технической зауми руководителей и преодолению граничащих с анекдотом трудностей. Заумь верхов уравнивается простецкими шуточками нижестоящих: «Если бы к твоим двум извилинам еще бы третью прибавить — цены бы тебе не было».

И подытожив всё, Кардин приходит к выводу, что Шатров, подметив только кое-какие внешние приметы НТР, удачно имитировав современные документы, освоив терминологию, «повторяет зады, — реставрирует давние сюжеты и положения». «Руководящее лицо» (так стоит в перечне действующих лиц), которое в пьесе сердечнее и умнее всех, напоминает Кардин, выступало, как «мудрость в предельной инстанции», еще в пьесе Н. Погодина «Мой друг» уже в 1932 году и точно так же именовалось. А в пьесе «Выстрел» Александра Безыменского еще в 1929 году сходил с конвейера под крики «ур-ра!» новенький, правда, не автомобиль, но трамвай. И есть там еще прототип Мамы Риммы — «парт-тетя Мотя», по словам Кардина, «женщина тоже крутого нрава, охотница резать правду-матушку». И вспомнив авторское уведомление, предваряющее пьесу: «Все герои пьесы — образы собирательные, и любое сходство с реальными людьми — чисто случайно», Кардин добавляет: «Ну, разве что случайно и самое отдаленное... Человеческие проблемы решаются в пьесе в духе скетча».

А в другом месте, разобрав внимательно текст приложенной к пьесе телеграммы, критик устанавливает, что этот «документ» призван только декорировать действие под современность, подтвердить, что «с подлинным верно» и что всё соответствует сегодняшней действительности с точностью до минуты. Отсюда вывод:

«Документализм как знамение времени и, естественно, как модное поветрие манит писателей. Искусство стилизации, однако, дается легче, чем воссоздание реальной жизни. Его история протяженнее, нежели документалистика в нынешнем понимании. Эпистолярный жанр насчитывает века, издавна популярны «романы в письмах», рядом с мемуарами подлинными выходили поддельные, и лишь по прошествии долгих десятилетий удавалось определить, где документ, а где имитация».

И поэтому писатели, вроде Юлиана Семенова и Михаила Шатрова, стремясь сообщить своим произведениям вожделенную злободневность, прибегают без зазрения совести к стилизации «под документ». Но, — предостерегает Кардин, — существуют границы стилизации. «Нельзя придумывать государственные акты, подделывать исторические бумаги», — пишет он.

Развивая эту мысль В. Кардина, читатель вправе сделать вывод, что коль скоро узловая проблема советской документальной литературы нередко сводится к имитациям и даже к подделкам государственных актов и исторических бумаг, то надо ее перенести из сферы литературного процесса в морально-этическую область. Но можно ли предъявлять иск гонящимся за дешевым успехом литераторам в государстве, где объективная истина так часто противоречит требованиям партийной политики, где истиной является только то, что помогает правящей партии в ее борьбе за свои политические цели?

КТО БЫЛ НИКЕМ...

I

Когда Авель ударился беспомощным затылком о каменистую землю Иудеи, когда осиротели его стада, обезумевшие от запаха человеческой крови, свершилось нечто значительное, нечто бóльшее, чем убийство, — и даже чем братоубийство. В династических спорах, в семейных конфликтах, в делах веры и нравственности, в реестре наказаний, наконец, принятом во всех законодательствах, — убийство терпелось, допускалось, предписывалось. Снисходительность мифургов к самому факту убийства, к его уголовной ипостаси, подтверждается тем, что Каин, избегнув человеческого суда и человеческого возмездия, еще много лет землепашествовал, плодил детей и строил города. По-собачьи огрызнувшись на вопрос, заданный ему Богом, он поворачивается спиной к трупу и уходит безнаказанный, невредимый, оскорбительно живой. Предание будто говорит нам — *можно и так*. Вариант Каина не есть социальный тупик — это есть один из возможных вариантов. Библия дает нам примеры тупиковых ситуаций — вероотступничество, «отречение от принципа». Тупиковая ситуация всегда знаменует собой полный распад человеческой личности,

ибо лопаются духовные узы, стягивающие ее в единое непротиворечивое целое. Так Валаам, вздумавший свершить невозможное — проклясть от имени Бога избранный Богом народ — превращается в пустую оболочку, тупой и послушный инструмент, предназначенный для выполнения непонятной и чуждой ему работы.

Случай Каина совершенно не таков: нам недвусмысленно сообщается о допустимости этого пути, его физической — не метафизической — оправданности. Пусть знают все будущие Каины — у них есть свобода выбора, им не грозит человеческий суд. Но отсутствие кары одновременно намекает и на абсолютную несопоставимость дозволенного Каину пути с путями истины — ведь кара призвана вернуть заблудшего человека к свету и добру, исправить ошибку. Но когда нельзя ничего исправить — незачем и карать. К чему окликать путника, если он ушел слишком далеко и не услышит Голоса?

Вот уже несколько тысяч лет, замороженные этой страшной пастушеской сказкой, мы пытаемся постигнуть ее высокий смысл, сделать его внятным для разума и сердца. Но никто не подошел так близко к этому смыслу в его современной конкретности, исполненной обманчивой библейской простоты, как удалось это Пушкину в «Моцарте и Сальери», самой трагичной из трагедий.

II

В 1824 году умер Сальери, задавленный величием тяготевшего над ним подозрения. В своей заметке Пушкин называет его «завистником». Да и сам Сальери признается: «...я ныне / Завистник. Я завидую; глубоко, / Мучительно завидую». Но полно — какой же он завистник, когда смиренно признает гениаль-

ность Глюка и восхищается пленительным Пуччини. Зависть — наиболее расхожее, наиболее грубое объяснение мучений Сальери. Недаром Пушкин перечеркнул первоначальное название трагедии — «Завистник». Сам же Сальери склонен скорее оскорбить себя, чем додумать до конца, довыяснить природу глубоких, изначальных причин, толкающих его на преступление. Кажется, будто он успокаивает себя изменностью своих побуждений, лишаящих задуманное им деяние космического смысла. Он не хочет увековечить себя в масштабности убийства, совершенного им, он — не Герострат.

Но рационалисту Сальери не удается удержаться на успокоительной платформе уязвленного самолюбия. Он не может не рассуждать, он не может не быть логичным. Он в высшей степени наделен качеством обращать в философию всё, с чем сталкивается его извращенный, искусный разум. И краеугольным камнем этой философии, трагедией всей его жизни, является неразрешимое (в системе ценностей, действительной для Сальери) противоречие между человеческой справедливостью и Божеской благодатью.

Провозгласив равенство возможностей, восемнадцатый век сделал тем самым борьбу за справедливость борьбой за достижение всеобщего равенства — и материального, и духовного. Благодать, изначальная избранность, не отвергалась — просто не принималась во внимание. Ей не оставалось места ни на Земле, ни на Небе — религия «Высшего существа», этого первоаппарата, главного болта механической Вселенной, не содержала и намека на идею избранничества. Недаром насаждавший ее Робеспьер даже атеизм считал чересчур аристократичным.

Но есть неотменимые условия человеческого бытия. Всякая попытка устранить их — или игнорировать — неизбежно приводит к образованию фантомных суррогатов. Так, любая революция, отменяя Бо-

жественный произвол социального порядка, ставит на его место произвол человеческий, низводя его из сферы духа в сферу плоти. Уничтожая метафизическое, изначальное неравенство, она не может не усугублять неравенства физического, земного. Равенство в Боге она делает равенством в смерти, в страхе. Аристократию, духовно преодолевающую в Истории свое земное избранничество (вспомним декабристов), она заменяет безликой и беспощадной властью большинства, почти неспособной к самосознанию, а значит и к творческому самоотрицанию — неременному условию нормального развития государственности, не отчужденной от жизни общества. Утверждение «нет правды на земле» автоматически приводит к тому, что «правды нет — и выше». Чашу Грааля не изготавливают, а ищут. Неумение видеть высшую правду и ее земное отражение не есть атеизм, но хуже — чудовищное извращение идеи Бога. Атеист отворачивается от Бога, — но он не распнет Его Сына.

Путь насильственного насаждения безблагодатной материальной справедливости представляется соблазнительным, почти легким тому сорту людей, кто заменяет разум его рабочим инструментом — логикой. Всякая революция вообще характеризуется «инструментальностью» мышления, сводящей сложность вечных проблем к мнимой простоте и разрешимости. Простота эта всегда оборачивается простотой разрушения, не наполненного чаще всего никаким позитивным содержанием: ждут, что оно появится само собой в результате «освобождения», кровавой расчистки. Но уничтожение во имя созидания — бессмысленно. Творческое созидание — высшая форма бытия, порядка, хрупкий мост, перекинутый через пропасть конечности, смертности. А разрушение ведет к увеличению во Вселенной количества черных дыр небытия, мучительного, кровоточащего хаоса. Умирание может быть прекрасным, стать творческим актом. Но убий-

ство мешает умиранию, превращает его из высокой трагедии в грубый фарс.

III

Почему жертва Авеля оказалась угодной Богу, а он, Каин, — отвергнут? Где справедливость? Тут было налицо вопиющее нарушение логики даяния-воздаяния, в причинно-следственном кругу которой вращался и вращается каждый здравомыслящий человек. Почему вдруг зачеркнут весь он, землешапец, с его трудами и молитвами, а брат — предпочтен? Каин понимает, что неравенство между ним и братом неустранимо, потому что имя ему — прихоть Божья. Но и бездействовать он не может — ибо земная справедливость, ее бездуховная мстительность, ее мертвая, пустая оболочка важнее для него безусловности истины, ее кажущейся немотивированности, сквозь которую не в состоянии проникнуть его убогий разум. Пытаясь отменить вечную ситуацию, он тем самым просто выводит себя за ее пределы. Не в силах снискать благодать, не в силах склониться перед высшей мудростью ее закона, Каин встает на единственно возможный для него путь — убийство брата, заслонившего его от Бога. Он должен уничтожить тот ненавистный сосуд, куда благодать столь неумеренно изливалась. И убийство задним числом подтвердило пророческую безошибочность Божьего выбора.

Был и другой путь — путь ожидания, путь смирения. Был путь забвения земной справедливости перед лицом Божественного произвола. Но этот путь не годился Каину — родоначальнику всех борцов за справедливость, где благодать распределяется между гражданами, как сапоги, хлеб и мыло, — поровну.

И наказать Каина было нельзя. Наказание всегда подразумевает исправление ошибки, формирование

души. Ведь и преступление может быть частью избранничества — вспомним Раскольникова. Его преступление — страшная ошибка на пути истины. Но его избрали на эту ошибку, соразмерную с величию конечной цели. И наказание — следующая ступень, поднимающая к ней. Преступления же Свидригайлова — бессмысленны, хаотичны, вне порядка. Он не избран. И поэтому для него не существует и очистительной кары — его жизнь не заслуживает высшего отрицания. Но Свидригайлов не отвержен так страшно, как Сальери или Каин. Ведь осознание полного духовного банкротства, всегда ведущее к самоуничтожению, — не есть гениальность, но есть несбывшаяся ее возможность. Подобное осознание — суровая милость, но и она дается не всякому.

IV

«Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет — и выше». Так начинается Сальери свой трагический монолог. Он, прилежный подмастерье Муз, постигший тайны святого ремесла в конце «тернистого пути» «Любви горячей, самоотверженья, / Трудов, усердия, молений», отвергнут Небом. Небо избрало своим глашатаем «безумца, / Гуляку праздного». Сальери видит в этом чудовищное попрание справедливости. В нем восстает вся рассудочность его умного века. Сальери говорит не только от своего имени, нет, он вещает от имени всех «жрецов, служителей музыки». Нет, Сальери не завистник! Он, столько раз помышлявший о самоубийстве, остается жить надеждой на появление нового Гайдна, дабы насладиться великим. И вот он пришел, новый Гайдн. О, если бы небесные звуки, источаемые Моцартом, были плодом тяжких раздумий, ошибок, трудов и молитв! Если бы Моцарт заработал свое избранничество — или выклян-

чил его у Бога! В Сальери достало бы широты склониться перед ним. Но произвольность небесного выбора бесит его, соразмеряющего и соотносящего вдохновение с количеством пота и ламповой копоти. Он грудью встает на защиту единственного понятного ему мира даяния-воздаяния. «Я избран, чтоб его / Остановить», — говорит Сальери. Слово «избран» в устах Сальери — не случайность. В известной мере он и себя чувствует избранныком, спасителем. Он — посредственность, и знает об этом, но посредственность, осознавшая себя и свое мировое значение, — посредственность высшего типа. Моцарт, называя Сальери гением, как бы интуитивно прозревает избранность его, но простодушно, доверчиво переносит эту избранность из сферы взбесившегося, неодухотворенного разума в сферу духа, порядка, музыки.

«Боже! — восклицает Сальери. — Ты, Моцарт, недостойн сам себя». Это крик души. Для Сальери убить Моцарта — значит разбить сосуд, недостойный излившейся в него благодати. Правда, человечество лишится источника божественных звуков. Но сама «бескрылая» натура человека противится призывам этих «райских песен». Да и всё равно со смертью Моцарта искусство снова падет туда, где прозябало до него, ибо нельзя научиться благодати, а то, чему нельзя научиться, чего нельзя заслужить, купить или завоевать, — бессмысленно, преступно, не должно существовать.

Человечество для Сальери — это общество одиноких, тленных оболочек, не составляющих высшего единства. Поэтому и сам Сальери так бесконечно одинок. Он не видит в человечестве отражения идеи Бога, где неповторимое и однажды достигнутое становится навсегда достоянием всех через интуицию, благодарность, бессмертие души. Наиболее ярко это проявилось, пожалуй, в сцене со скрипачом. Ведь Сальери, как и многие ревнители и защитники земной справед-

ливости, ненавидит и презирает ту часть человечества, что воспринимает гениальность немудро, но благодарно, косноязычно, но почтительно, — «маляров негодных», «презренных фигляров». Принять во всей ее полноте идею Божественного избранничества — значит принять тот истинный аристократизм, когда отражение избранничества одинаково свято на каждом месте социальной иерархии. Разрушение же этой иерархии, хотя на словах почти всегда совершается во имя нищих духом, затрагивает их не меньше, чем элиту, — а иногда и больше. «Было бы ошибкой думать, что страдали главным образом только зажиточные люди. Напротив, из 2750 жертв Робеспьера только 650 принадлежали к высшим и средним классам. Повозки, с утра до вечера вращавшиеся между площадью Революции и Сент-Антуанским предместьем, были наполнены рабочими». (Б. Бакс. Великая французская революция. П-г, 1920). Так Сальери моделирует собой весь спектр чувствований и мыслей целой отрасли человеческого бытия, влачащейся вне благодати — по пути бессмысленного, самоубийственного беспорядка. Так смех Моцарта, ребячески восхищенного наивным звучанием своих мелодий в беспомощной игре трактирного скрипача, провидящего в этом звучании глубокое, осмысленное родство, не находит отклика в мертвой душе Сальери. Только в Боге они могли встретиться — Моцарт и бродячий музыкант. Их встреча — шутка перед Господом, но Сальери не способен воспринять ее неслучайность. Его слепота гораздо страшней физической и интеллектуальной слепоты скрипача — это духовная слепота.

И убийство совершается наяву, свершившись сначала в душе Сальери. Только тогда убийца начинает понимать, чего он себя лишил. Он безвозвратно потерял всякую надежду на гениальность. Он мог бы еще стать гением смирения, затушив адский огонь, пылавший в нем, пощадив Моцарта, простив ему, избран-

нику, его избранность. Но Сальери и ему подобные не могут быть гениальны, ибо лишены благодати. Таков страшный, каиновский круг, в котором горящей крысой мечется Сальери.

V

Многие критики, анализируя пушкинскую трагедию, смущенно, почти с ужасом отмечают трагическую привлекательность образа Сальери, глубину и возвышенность его страданий, заставляющую читателя сочувствовать ему и сопереживать. В чем же тайна этой привлекательности? И надо ли преодолеть ее в себе?

Вместо ответа мы позволим себе привести цитату из письма Константина Леонтьева священнику Фуделю. Вот она:

«Однажды я спросил у одного весьма начитанного духовника-монаха: отчего государственно-религиозное падение Рима, при всех ужасах Колизея, цареубийств и при утонченно-сатанинском половом разврате, имело в себе, однако, так много неотразимой поэзии?... — Никогда не забуду, как он восхитил и поразил меня своим ответом! — Бог это свет, и духовный, и вещественный; свет чистейший и неизобразимый... Есть и ложный свет, обманчивый. Это свет демонов, существ Богом же созданных, но уклонившихся, как вам известно. Классический мир и во время падения своего поклонялся хотя и ложному свету языческих божеств, но все-таки свету...» (К. Леонтьев. О Вл. Соловьеве и эстетике жизни. Изд. «Творческая мысль», М., 1912, стр. 37).

Так вот в чем дело — в эстетической привлекательности ложного света! Эта эстетическая привлекательность по сути своей синонимична свободе выбора, его напряженности и духовной непредвзятости. Неда-

ром сейчас бытует во всем мире газетный штамп: «свет революционных идей». Это всё тот же свет, и всё так же его эстетическая доступность манит за собой все новых и новых последователей Каина и Сальери. Ведь если бы уродливость ложного пути вставала перед нами в отталкивающем, антипоэтическом внешнем обличье, велика ли была бы заслуга людей, свободно отвергнувших этот путь? Но путь Троцкого, путь Сальери, путь Че Гевары включает в себя все внешние атрибуты истинной судьбы — жертвенность, презрение к опасности, силу мысли, любовь к человечеству, забвение себя ради идеи, трагическую гибель... Сальери привлекателен тем, что он — мученик. Ложный свет создает мучеников. Но лишь истинный свет создает святых.

Сопереживать Каину и Сальери нас заставляет ощущение внутренней необходимости изжить в себе их путь, изжить подробно, осмысленно, эмоционально. Ведь Сальери и Моцарт, Абель и Каин иконологически, ипостасно связаны по отношению к проблеме избранничества. Неразрывность связи подчеркивается их братством — по крови, по ремеслу. Но горе тому, для кого это братство станет источником духовной путаницы, ложного выбора. «...Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение; ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я» (Лук. 21, 8).

1970-1974

«ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» И НАУКА

Существуют «исторические закономерности» или нет? Иными словами: предсказуемо ли наше будущее? *Обречены* ли мы «прогрессировать» каждый раз к «лучшим» общественным формациям, относительно которых некие просвещенные мужи заверяют нас, что они их знают, и в которых именно эти просвещенные мужи будут обладать политической властью? Или же мы в состоянии, не обращая на подобные предсказания внимания, сами избирать наш будущий общественный строй, будь он «передовым» или «отсталым»? И еще: сами эти понятия «передовой» и «отсталый» — имеют ли вообще какой-либо объективный смысл или зависят лишь от нашего воображения, впечатленного направлением событий? Предрешен ли для нас «строй будущего» или он возникнет лишь в том случае, если сами мы его захотим?

Подобные вопросы возникли сравнительно недавно. Раньше решение их казалось всем настолько очевидным, что их просто не ставили. Единственной обязательной, неизбежной силой, которую усматривали в Истории, было Божественное Провидение, волю Которого мы заранее узнать не можем, кроме как посредством Откровения. В качестве примера такой позиции можно привести мнение св. Фомы Аквинского, хотя бы уже потому, что у него это положение недвусмысленно сформулировано. Когда древ-

негреческие и римские источники вынуждали его писать о «роке», он утверждал: единственное, от чего зависит наш рок, это — Божественное Провидение¹. Но, во-первых, нам оно неизвестно, кроме лишь тех случаев, когда Сам Бог изволит нам его открыть. Во-вторых, Господь устроил мир таким образом, что в исторических событиях принимает участие не Он Один как «Первопричина», но и мы, люди, в качестве «вторичных причин», в силу наделенности нас свободной волей. Следовательно, «открыть» одним нашим человеческим умишком какие-либо «исторические закономерности» просто не представляется возможным.

Правда, такого дословного заключения у св. Фомы Аквинского нет (в ту эпоху оно было столь очевидным, что в *формулировке* просто *не нуждалось*). Но мы находим предпосылки, из которых оно непосредственно вытекает. Первую св. Фома Аквинский определяет при рассмотрении вопроса: можем ли мы знать будущие события? На это он отвечает: только в том случае, если мы можем определить их причины в настоящем; причем, с чем большей научной достоверностью мы их определим, с тем большей степенью вероятности эти причины вызовут свои следствия². Вторая предпосылка такова: по воле Господней «вторичные причины» — люди — действуют свободно, а значит, вызывают следствия не необходимо, а контингентно (т. е. в любой момент могут их вызвать или не вызвать, вызвать одно или другое³). И хотя сам св. Фома Аквинский обе эти предпосылки не сопоставил, нетрудно это сделать за него: история по сути и есть перечень определенных следствий «вторичных причин» — людей — следовательно, научно знать ее заранее мы не можем.

Итак, повторяю, вопрос о возможности узнать наше будущее возник в прошлом веке, когда некоторые мыслители заявили, что *они открыли* всеобщий закон всякого исторического развития. «Открыли»

даже несколько таких законов. Один из них — «биологическая» теория культур. Согласно ей, субъекты истории — не люди, а «культуры» (египетская, вавилонская, греческая, майя и др.), которым свойственно «циклическое развитие наподобие биологических организмов: культуры рождаются, развиваются, достигают «зрелой» стадии, разлагаются и умирают. Эта теория исторических циклов, созданная Данилевским, затем была развита Шпенглером и Тойнби.

Другая теория истории — линейный «прогрессизм», создана как бы по аналогии с эволюционной теорией Дарвина: человеческое общество, наподобие мира животных, прогрессирует от менее сложного к более совершенному и прекрасному. В качестве последовательного защитника подобной точки зрения можно привести Спенсера. Но мнение это бытует скорее не в научных кругах, а в виде предрассудка, или молчаливо допущенной предпосылки, в многочисленных газетных статьях и разговорах «за чашкой чая». Выражается она, например, в молчаливом отождествлении «прошлого» и «худшего», «современного» и «лучшего», «будущего» и «еще более лучшего», хотя никаким логическим родством эти понятия не связаны.

Наконец, существует еще одна разновидность вышеупомянутой теории, а именно «диалектическая», согласно которой история развивается тоже всегда к лучшему, но «скачками», некими переходами количества в качество.

Это «диалектическое» направление существует в двух «вариантах». Первый — идеалистический — принадлежит Гегелю, согласно мысли которого всем этим забавляется «мировой дух», стоящий неким таинственным образом за каждым историческим событием. С ним Гегель, в противоположность простым смертным, не менее таинственным образом сумел установить контакт. Второй вариант — исторический материализм, согласно которому этот «механизм» обслу-

живают — тоже неизвестно, как — материальные интересы и общественные классы. Вот этот вариант нам придется особенно учесть, не из-за его научной ценности (которая, как мы увидим, не больше ценности любой из остальных теорий истории), ни даже из-за его политического значения (никто в него уже, по сути, не верит, кроме Запада), но из-за его склонности оставлять в мышлении людей, от него освободившихся, порой весьма стойкие следы в виде отдельных иррациональных представлений или предрассудков, один из которых и есть вера в «историческую необходимость» или в «исторические закономерности».

Разумеется, сам факт наличия подобных теорий существенно меняет перспективу. Ограничиться, как делал в свое время св. Фома Аквинский, доказательством, что, скажем, «историческая необходимость» невозможна — это нас уже полностью не удовлетворяет, будь это даже святой правдой. Потому что если никакую «историческую закономерность» сформулировать нельзя, то что же думать об уже «сформулированных»? Но этот вопрос влечет за собой другие: значит, невозможно предсказать ни одно общественное или историческое событие? Значит, невозможны и все «общественные науки»? Но тогда — в чем заключается смысл работы историка?

На все эти вопросы я в некоторой мере и постараюсь ответить. Ничего нового я, конечно, не собираюсь изобрести, тем более, что это уже сделано одним из самых выдающихся философов нашего столетия — Карлом Раймундом Поппером, чьи мысли я и попытаюсь в сокращенном виде изложить⁴. Любопытно, что заключения Поппера, номиналиста и агностика, в конце концов по существу совпадают с выводами св. Фомы Аквинского, который исходил из совершенно других предпосылок и ставил себе совсем иные задачи. Дело, видимо, в том, что логика не зависит

от философских течений, но именно она и привела в данной области столь различных мыслителей к одним и тем же результатам.

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ И ИСТОРИЯ

Что же следует думать, как мы сказали выше, об «исторических закономерностях», которые, по мнению определенных ученых, уже обнаружены? Чтобы ответить на этот вопрос, заметим сперва, что все «исторические закономерности» претендуют на *научность*. Следовательно, чтобы вынести о них суждение, нам нужно было бы исходить из четкого представления о том, что такое «наука», или точнее, — «экспериментальная наука», на которую именно эти ученые и ссылаются.

Согласно Попперу, экспериментальные науки состоят из закономерностей со-изменения определенных явлений, могущих всегда быть выраженными числовыми показателями. Эти закономерности выражаются посредством общих, «универсальных», предложений⁵, которым всегда можно придать условную⁶ форму. Например, возьмем закон Ньютона: сила притяжения между двумя телами обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Исследование и установление подобных закономерностей должны отвечать определенным методологическим требованиям, главное из которых — по терминологии Поппера — «фальсация» (вместо «проверки»). Это понятие — большой вклад Поппера в теорию науки, который окончательно позволил отказаться от устаревшего понятия «экспериментальное подтверждение»⁷. Это понятие Поппера заключается в следующем: любой предполагаемый закон природы сначала формулируется в голове исследователя как *гипотеза*. Но для того, чтобы данная гипотеза могла

бы начать считаться «проверенной», следует сперва подтвердить опытно, действительно ли согласно ей изменяются рассматриваемые переменные. При этом мы *ищем не утвердительных, а отрицательных* ответов: достаточно лишь одного случая, при котором переменные не изменились бы согласно данной гипотезе, чтобы мы ее уже не могли принять в качестве универсального закона, а следовательно, должны были бы ее отбросить. В таком случае для Поппера гипотеза оказалась неверной. Но и подтверждающие ее опыты-ответы, каким бы количеством их мы ни обладали, тоже еще ничего не значат. Они позволяют только принять гипотезу временно и орудовать ею в качестве «закона» до тех пор, пока она не окажется неверной. Вернемся теперь снова к нашему примеру: закону Ньютона. В момент его открытия Ньютон отлично мог выдвинуть гипотезу, что сила притяжения между двумя телами обратно пропорциональна расстоянию между ними; вероятнее всего, что он так и сделал. Но несложные вычисления и измерения быстро его убедили, что это не так. Тогда он отбросил эту — первую — гипотезу и попробовал с расстоянием в квадрате. На этот раз гипотеза неверной не оказалась и была принята как закон всемирного тяготения. Но когда недавно возникли предположения, что и этот закон в некоторых случаях может оказаться недействительным, его пришлось рассматривать уже как частный случай более широкого закона: теории Эйнштейна, которая, в свою очередь, может подвергнуться такому же испытанию и участи.

Экспериментальные законы обладают — пока они не оказались неверными — одним характерным свойством: они позволяют *предсказывать* будущие явления. Но при этом важно, чтобы мы поняли логическую структуру такого рода научных предсказаний, которая в повседневном разговоре может оказаться незамеченной. С правилами логической структуры

происходит то же, что и с правилами, например, силлогизмов. Ведь в обычном разговоре никто не скажет: все люди — двуногие. Я — человек. Следовательно, я — двуногий.

Яснее и короче можно сказать так: раз человек, значит — двуногий. С научным предсказанием происходит нечто аналогичное: в обычном разговоре некоторые его составные части лишь подразумеваются. Какова же тогда его полная форма?

Для предсказания категорического (не условного, т. е. без всяких «если») нужны две вещи. Первая — общий закон, который послужит нам первой посылкой; например, скажем: всякая железная проволока определенного объема выдерживает вес не более пяти килограммов. Вторая посылка — описание нашего опыта, то есть то, что Поппер называет «исходными условиями». Например: имеется железная проволока такого же объема, но мы на ней укрепим предмет в десять килограммов весом. Отсюда и возникнет предсказание: проволока не выдержит, и предмет оборвется. Каждое предсказание нуждается в обеих посылках.

Теперь отметим интересную особенность: наша вторая посылка, или, по Попперу, «исходные условия» — не есть научное заключение (которое должно быть всегда общим), а изложение исторических событий (фактов), описание порядка вещей в данном месте и времени. К тому же, любое изложение исторических событий — экзистенциально, иными словами, экзистенциальны все описания чувственных восприятий. Но на исторических суждениях наука создана быть не может: нельзя проверить на опыте, существовал ли Наполеон? объявил ли он войну Пруссии? и даже самое простое — стоит ли в этой комнате стул? Или мы имеем возможность подтвердить подобные суждения нашими собственными чувствами (видим стул), помещаясь в те же условия пространства и времени, что и высказывающий данные утверждения человек,

или же нам остается только поверить на слово (или не поверить) свидетелю, который нам их излагает⁸.

Правда, эта идеальная схема «науки» на деле не всегда соблюдается во всем том, что мы обычно называем «научной деятельностью». Некоторые науки вообще не поднимаются выше так называемого описательного уровня, т. е. всецело состоят из частных и категорических (т. е. *исторических*) предложений (как было, например, с классической зоологией времен Линнея и как еще сегодня обстоит дело с немалой частью ботаники, географии, социологии). Возникли даже протесты со стороны деятелей этих наук против сведения термина «наука» до указанного Поппером уровня⁹. Не будем сейчас вдаваться в терминологические споры; хотя я лично думаю, что самым подходящим наименованием для подобных отраслей знания был бы старинный термин «естественная история», но я отнюдь не возражаю и против того, чтобы они именовались «науками», если это так уж нравится их представителям¹⁰. Что же касается предвидения, чем мы в данный момент интересуемся, то следует признать, что чем меньше неверных гипотез разрабатывает данная отрасль знаний по системе «пробы и ошибки» — потому ли, что она вообще не предлагает гипотез, как в случае ботаника, описывающего растение, или потому, что эти гипотезы оказываются не «непроверяемы на неверность», как в случае лингвиста, экономиста, кибернетика, «идеализирующих» сложное целое путем математической «модели» — тем меньше предсказаний на научной основе такая отрасль науки может сделать.

Ясно одно: нельзя делать предсказаний *только* при помощи научных заключений (т. е. на основе общих законов) или *только* оперируя с историческими суждениями (т. е. частными). Потому что в таком случае достаточно одного факта, чтобы дисквалифицировать бóльшую часть деятельности теоретиков

истории, особенно в их «биологической» разновидности.

2. ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

И все-таки один выход у теоретиков истории есть, а именно: им следовало бы заявить, что из наблюдений над историей они вывели одну или несколько «объективных закономерностей», сравнимых с экспериментальными. Рассмотрением такого возможного заявления мы коротко и займемся, сосредоточившись на общем вопросе *общественных наук*.

Возможны ли вообще экспериментальные знания о человеческом обществе? Наша вышеприведенная аргументация, казалось бы, такую возможность исключает: свободные решения предсказать невозможно. Но следует учесть, что в повседневной жизни мы не всегда используем данную нам возможность мыслить, а следовательно, и имеющуюся у нас свободу выбора. Поэтому возможно предвидеть — в определенной степени и с неплохим приближением — наши обычные сознательные или бессознательные действия. Можно было бы, обобщая, сказать, что чем менее рассудительно, т. е. «механичнее», происходит действие, тем больше имеется возможностей его предвидеть. Следует также отметить, что касается области сознательной деятельности, что хотя мы все и *способны* на какой-то момент отойти от установленных правил или от принятых условностей, или же от «целесообразности» (как ее в данном обществе понимают), мы далеко не всегда это делаем.

Такое положение позволяет устанавливать статистические законы, и даже — благодаря закону больших чисел — математические модели. Ведь в конце концов статистический закон не менее закон, чем любой другой, и устанавливается так же: гипотезой и

проверкой на неверность. Разумеется, когда обнаруживается хотя бы один случай, не соответствующий гипотезе, она уже не расценивается как общий закон, на что гипотеза и не претендовала. В качестве же статистического закона она перестает им быть лишь тогда, когда ей не соответствует хотя бы один раз процент случаев, отличающийся от предполагаемого.

Конечно, предвидение, которое позволяют подобные законы, будет всегда приблизительным, с заранее известным процентом неопределенности. С другой стороны, эти законы всегда рискуют оказаться неверными, и в гораздо большей мере, чем физические; следовательно, их употребление — всегда временное, и с ними нужно обращаться осторожно.

Но с такими ограничениями экспериментальные знания в области общественных отношений вполне реальны; установить их зачастую нелегко (например, прямой опыт не всегда возможен, часто его следует заменять наблюдением над историческими данными; не всегда легко изолировать изучаемые переменные и т. д.), но, тем не менее, экспериментальные знания возможны. Лучшее тому доказательство — то, что на Западе (где на эти вопросы не давит истмат) уже установлены вполне приемлемые постоянные соотношения между, скажем, изменением уровня цен и изменением пошлин на сельскохозяйственные продукты, то ли путем кредитных мер, то ли усилением налогов. Более того: именно подобные знания и отличают «опытного человека» от новичка. Разумеется, знания «опытного» человека отнюдь не безошибочны: в основном это — обобщения, как правило, интуитивные, которые касаются действий большинства людей в данных обстоятельствах. Ценность их всегда относительна, в лучшем случае — статистична, поэтому «опытный» человек тоже ошибается. Но, с другой стороны, бесспорно и то, что ошибается он меньше неопытного человека, а это вынуждает нас признать факт накоп-

ления кое-каких знаний, даже при условии, что они могут быть и относительными.

Все эти обобщения, или экспериментальные закономерности, имеют общие черты, сближающие их с физическими законами. Во-первых, они всегда могут быть опровергнуты наблюдениями. Во-вторых, это — всегда законы со-изменения (или со-возникновения, что в конце концов одно и то же) определенных явлений (или качеств, или поступков). Многие из них народный опыт сохранил в форме пословиц (например: старость не радость; правда глаза колет), где эти свойства легко наблюдаются: большинство из них — общие суждения, которые на абсолютное знание предмета никак и не претендуют (нередки пословицы, прямо противоположные друг другу), а скорее хотят человеку помочь изложить его собственные наблюдения. Но, как правило, в них существует взаимосвязь между двумя явлениями.

Следовательно, все эти общественные закономерности, будь они установлены мужицкой поговоркой или ученым американским социологом, всегда будут носить частичный, отрывочный характер; они всегда будут касаться определенных аспектов, или обстоятельств, или секторов, или действий общественной жизни. Их никак невозможно применять к крупным изменениям внутри общества, и еще менее — касательно общества в целом. Можно, например, установить, что если человеку сказать неприятную правду в глаза, то он, как правило (или в таком-то проценте случаев), обидится. Но никак нельзя установить, что при наличии таких-то обстоятельств, всегда (или в определенном проценте случаев) произойдет Французская революция.

Причина — изоляция исследуемой переменной: в крупных общественных сдвигах участвует столько людей, с таким количеством различных побуждений и под влиянием столько внешних обстоятельств,

что проследить действие на них одного какого-либо определенного фактора — предельно трудно, а на продолжительных отрезках времени — совершенно невозможно.

3. «ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» И НАУКА

Что же ввиду всего этого можно сказать о так называемых «исторических закономерностях»?

Во-первых, они претендуют быть всеобщими законами развития всего человеческого общества (если не всего мира); все объясняется эволюцией, или классовой борьбой, или историческими циклами. Как мы уже только что убедились, такой подход ненаучен: на определенных отрезках времени и в крупных событиях невозможно проследить влияние одной-единственной переменной. Защитники «исторических закономерностей» отвечают на это, что они, дескать, свои закономерности вывели не на основе изучения той или иной конкретной переменной, а наблюдая «историю в целом». Но тогда тем более неверно: ведь история «в целом» *одна*, а из наблюдения *одного* явления вывести общий закон уж никак нельзя!

Другие, более умеренные защитники «исторических закономерностей», отвечают, что их цель — не столько установление общих закономерностей, сколько обнаружение исторических *тенденций*, последствия которых могут ощутиться в будущем. Но дело в том, что тенденция — *не закон*. Ее констатирование — суждение единичное, не общее и, следовательно, *историческое*. Поэтому никакое предвидение на подобной основе — невозможно (что, впрочем, ежедневно подтверждает опыт: тенденция, например, к увеличению населения страны или города может быть сколько угодно времени постоянной и «устойчивой», и вдруг —

в несколько лет или даже дней — оборваться). Тенденции могут быть использованы для предсказаний только тогда, когда они сами объяснены совокупностью общего закона и исторического суждения, что нас возвращает к предыдущей задаче.

Из сказанного следует, что «исторические закономерности» *не* подлежат проверке на неверность. Иными словами, последователь подобных учений никогда не ставит себе вопрос: а как развивалась история, если бы она *не* определялась по данной теории (скажем, классовой борьбы, или циклов, или какой-нибудь иной)? А если даже и поставит, то с удивлением обнаружит, что ответить на него невозможно.

И наоборот: когда возникают факты, опровергающие подобную теорию, то её высочайшая степень общности всегда позволяет её защитникам объявить, что это, дескать, только кажущееся опровержение, или временное исключение, или лишь «отдельный», «нетипичный» случай, или, наконец, что их закономерность «еще» себя не проявила, но неизбежно обнаружит себя в более или менее отдаленном будущем.

Если бы сторонники «исторических необходимости» действовали добросовестно, то они не принимали бы во внимание и те факты, которые происходят *в соответствии* с их «закономерностью». К сожалению, ими делается прямо противоположное: как только они в состоянии привести в подтверждение такого рода факт, каким бы он малозначительным или вымученным ни был, они торжественно преподносят его в качестве «подтверждения» своей теории¹¹. Следовательно, нельзя доказать ложности никакого «исторического закона». Но убедить неискушенного в этой области человека в верности какого-либо из этих законов сравнительно легко. Увы, это и есть лучшее доказательство того, что законы эти ненаучны: ибо если можно привести сравнительно убедительные доводы в пользу того тезиса, скажем, что история движется

борьбой классов, и такие же доводы в пользу противоположного утверждения, что общество движется сотрудничеством, совместным творчеством всех составляющих общество частей, то принятие одного или другого утверждения — дело уже не науки, а веры.

Хороший пример — марксизм. Он подвергся достаточным проверкам на неверность, чтобы можно было отбросить его основную научную гипотезу; все предсказания марксизма оказались неверными: капиталы до сих пор не сосредоточились в нескольких руках, пролетариат в наступившем будущем не погряз в нищете, революции возникали сначала в отсталых, а не в наиболее развитых странах и т. д. И тем не менее он и сегодня обладает немалым количеством сторонников (и даже на Западе, и даже не только по карьерным соображениям), которые считают его законы истинными. Излагают они идеи марксизма весьма неопределенно, примерно так: мы с полной ответственностью утверждаем, что А есть А, но одновременно мы не должны отрицать, что А не есть А. По существу же их взгляды сводятся к следующему: если мы все поможем установлению коммунистического общества, то в конечном счете предсказание исполнится: в будущем установится коммунистическое общество. Самое забавное в этом, что такая постановка вопроса верна: если мы все двинемся в сторону Красной площади, то рано или поздно мы все очутимся на Красной площади. Но, во-первых, мы это прекрасно знали и без марксизма; во-вторых, это означает исповедание исторического волюнтаризма, который не имеет ничего общего с подлинно научным подходом.

И как раз этот волюнтаризм, или, может быть, лучше сказать «исторический активизм», зачастую сопутствует вере в «исторические необходимости». Претензии на научность и активизм создают нечто вроде симбиоза: активизм оказывается единственной

гарантией осуществления предсказаний теории, а теория, в свою очередь, толкает и направляет по определенному пути активизм. Поэтому теория включает в обиход своих «технических» слов выражения с большим эмоциональным зарядом, как, например, «борьба», «эксплуатация», «прогресс», «освобождение», «вперед», «отживший» и т. д. и т. п. С их помощью она изменяет саму систему ценностей своих сторонников: «хорошим» становится «прогрессивное», т. е. то, что находится в согласии с теорией, а действия, идущие вразрез с теорией, становятся «плохими». Но не плохими сами по себе, а «реакционными», т. е. заранее обреченными на неудачу... из-за несогласия с теорией.

Такая логика весьма своеобразна и отчетливее всего проявляет себя опять-таки у марксистов. Благодаря ей, они могут по своему выбору орудовать нравственными и «научными» доводами: сомневающемуся в их теории по научно-методологическим причинам они ответят: значит, вы — сторонник гнета-эксплуатации, играете на руку чернейшей реакции, продались иностранному капиталу! А обвиняющему их самих в преступлениях, в эксплуатации и в продажности они преспокойно объяснят, что хотя всё это, конечно, прискорбно, но вызвано научно доказанной «исторической необходимостью». Оттого так трудно разубедить марксиста: он остается совершенно непроницаем для разумных доводов.

Но самое трагическое возникает тогда, когда сторонники «исторических закономерностей» получают возможность «испытать на практике» свои теории. Поскольку их «закономерности» относятся к обществу в целом, то, следовательно, могут быть «испытаны» лишь при изменении *всего* общества. Отсюда — политическая одержимость марксистов и их стремление к захвату той единственной силы, которая такое изменение позволит им осуществить, т. е. политической

власти. Но их теории не проверяемы на неверность, а следовательно, *и не испытуются*: до проведения опыта никто не может предсказать или предвидеть, какие именно результаты опыта должны привести к тому, чтобы отбросить теорию в целом. Наоборот, такая возможность исключается начисто, а именно она и есть неременное условие всякого подлинно научного опыта.

Таким образом на практике происходит следующее: переворот всего общества предполагает одновременное принятие великого множества частных мер (законодательных, исполнительных, административных, судебных, репрессивных, военных и т. д.). И если в результате их возникают нежелательные последствия, то, как правило, уже не представляется возможным проследить, от какой именно из этих мер они проистекают. Но так как последствия не разрешается приписывать теории в целом, приходится искать некоего козла отпущения, т. е. «виноватого», что и превращает такого рода режимы в долгую, продолжительную и мучительную «охоту на ведьм». В пределе, существует намерение переделать человека как такового, т. е. создать «нового, коммунистического, человека», для которого бы оказались приемлемыми и даже желательными условия, кажущиеся нормальным людям невыносимыми.

Если вникнуть с научной точки зрения в коренную неудачу создания подобного режима, то следует сказать, что для осуществления такой теории на практике человечество нуждается в «перековке» всей своей природы, т. к. иначе она неприменима к человечеству в его теперешнем виде, из наблюдения над которым она якобы возникла. Это и есть самое наглядное опровержение с нравственной точки зрения: в конце концов мы такие же люди, как и марксисты, и никому мы не давали права нас «перековывать».

Такая теория, как мы видим, даже со всеми своими хитросплетениями, не может быть научной по логическим причинам. Действительно, Поппер установил — в этом его важная заслуга, — что нельзя делать научные предсказания без права на открытое их опровержение. Раз «исторические закономерности» таковыми не являются, сторонники их могут предложить нам лишь псевдонаучное кликушество, а их «законы» есть просто *догадки*, может быть, и блестящие, может быть, и гениальные, возможно даже и правильные (кто может знать?), но не подлежащие проверке.

4. ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЯ?

И всё-таки, если ограничиться сказанным, оно может вызвать разочарование у читателя, интересующегося — профессионально или по личной склонности — историей. Ведь если научны лишь экспериментальные знания, а история ими не пользуется и не может пользоваться, то в чем же заключается работа историков? Вопрос вполне законный. На Западе уже возникла серьезная критика положений Поппера, которая обвиняет его в изгнании из понятия «науки» всех исторических знаний и водворения их в область простого фольклора. Итак, что же такое история?

Согласимся на том, что история как таковая — рассказ о происшедших единичных событиях. Состоит она из «исторических предложений», в приданном нами этому выражению логическом смысле. Она не интересуется установлением общих законов. Как только история начинает ими заниматься, она превращается в лучшем случае в социологию, а в худшем — в софизм. Разумеется, историк имеет полное право заниматься и социологией; он даже может при желании соединить в одном труде исторические и социологические исследования. Но он должен сознавать, что

пользуется при этом двумя совершенно разными методологиями.

Когда историк выступает именно в своем качестве, он рассказывает нам о единичных событиях с той целью, чтобы читатель ему *поверил*, лично ему или предшествующим историкам, трудами которых он пользовался как источниками. Действительно, у читателя нет другого средства проверки, кроме сравнения рассказа одного историка с рассказом другого, которому тоже можно только верить или не верить. Все приемы сверки источников, нахождение между ними совпадений или противоречий, археологические подтверждения и т. п. имеют цель лишь установить как можно точнее степень *достоверности* того или иного исторического утверждения.

Но мы уже видели, что исторические предложения — экзистенциальные (т. е. единичные и частные) предложения. Следовательно, мы можем изложить бесконечное множество подлинных исторических предложений (в этой комнате стоит кресло; вчера оно тоже было в этой комнате; в четыре часа на него попал луч солнца; оно зеленого цвета... и так далее). Их невозможно, скажем, вместить в один труд. Следовательно, надо среди них произвести *отбор*. По какому же признаку? А просто: история состоит из тех исторических предложений, которые мы считаем наиболее *интересными*.

Конечно, интерес — понятие субъективное; меня интересует одно, тебя — другое. Интерес может существенно меняться. Так, марксист будет стараться подчеркивать события, объяснимые «классовой борьбой»; историк религий — те, которые объясняются борьбой религиозных представлений; верующий историк — те, которые свидетельствуют о прямом вмешательстве Бога и т. д. Наличие такого критерия отбора может привести на мысль (нередко даже самого историка), что его отбором доказывается «теория», то есть, что

это — попытка объяснить *всю* историю: то ли классово-вой борьбой, то ли борьбой религиозных представлений или Божественным Провидением. Но такое представление обманчиво: налицо есть только лишь *признак*, по которому отбираются изложенные факты, и этот признак отбора как таковой приемлем только методологически. Потому что как только он превращается в «теорию», то, как мы видели, ее следует считать бездоказательной, из опасения «парадокса подтверждения».

Но из всех возможных критериев отбора фактов для каждого отдельного труда по истории мы не можем ни один объявить «правильным», исключив все остальные. Все они «правильны» в равной мере. Например, историк, увлекающийся политическими и военными событиями, отведет в своем учебнике немало места Наполеону. Другой же историк может совершенно свободно игнорировать полководцев и заняться житиями святых. И его труд не будет менее «историчен», чем любой классический учебник, скажем, по русской истории. Третий заинтересуется писателями и художниками. И у него получится история литературы или история изобразительных искусств, которые, заметим, не менее предыдущих могут претендовать на звание «истории» *в целом*. А четвертому, может быть, важнее всего лишь та история, которую он пережил лично. В этом случае возникнут мемуары, которые опять-таки есть история.

Но что же тогда с *Историей* с большой буквы, с той Историей, которая «показывает», «ставит на место», «отбрасывает» и «отвергает»? Такой «Истории» просто *не существует*. Причина следующая: если такая история «вообще» может быть как-нибудь определена, то лишь как совокупность всех уже высказанных или возможных подлинных исторических предложений, относящихся и к царям, и к святым, и к художникам, и к моим собственным переживаниям,

и к мебелировке каждого дома на Невском проспекте в XIX веке. Но очевидно и то, что таких исторических предложений бесконечное множество, следовательно, их никогда не сможет вместить ни одна книга, ни одна совокупность книг, ни один человеческий мозг. Отсюда ясно, что подобная история в лучшем случае — абстракция. А абстракции нельзя приписывать никаких конкретных последствий или действий; иначе она превращается в миф. Таким образом, словосочетания вроде «история доказала...», «история требует...», «история отвергла...» и т. п. начисто лишены смысла. Абстракция не может ни доказывать, ни требовать, ни отвергать. Подобные фразы надо воспринимать как бессмыслицу.

5. ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

В таком случае, должны ли исторические труды содержать только лишь *рассказ* о событиях? Ведь даже широкая публика ожидает от историка объяснений, «как и почему» произошли такие-то события; не говорю уже о специалистах, и в России и за границей, которые в большинстве своем тоже склоняются к «объяснительной» истории. Требование это совершенно законно и прекрасно совмещается со сказанным до сих пор, но при единственном условии: чтобы предлагаемые объяснения подчинялись тем же требованиям и строились таким же образом, как и научное предвидение. А именно: в наличии должен быть общий закон (обязательно проверенный на неверность) и описание «исходных условий» (т. е. тогдашнего положения вещей); из этих двух посылок и должно выводиться объясняемое.

Правда, в случае историка трудность его положения как раз и заключается в установлении «исходных условий», или фактических посылок. Следовательно,

его работа должна быть направлена главным образом на исследование обстановки, в которой возникло объясняемое им событие. А общий закон, как правило, до того тривиален или ненадежен, что историк редко утруждает себя открытым его изложением. Более того: он часто о нем догадывается чисто интуитивно, на основе простейшего психологического обобщения («что бы я подумал» или «сделал» в таком случае). Приведем пример. Допустим, что мы хотим объяснить постоянное стремление русских правителей в течение трех последних веков к владению проливами. В таком случае мы скажем, что на Черном море расположены единственные незамерзающие русские порты, следовательно, там находятся главные верфи, а значит, и основная часть флота; но тогда, если вспыхнет война и проливы будут захвачены воюющим с Россией государством, этот флот окажется неэффективным: он останется без дела, запертым в Черном море. На этом мы останавливаемся: вопрос совершенно ясен и «объяснен». Редко кому даже в голову приходит попытаться сформулировать тот общий закон, который логически превратит все эти данные в «объяснительные» и который в нашем случае выглядел бы следующим образом: «всякое правительство стремится к максимальной эффективности своих вооруженных сил»¹². Закон подразумевается. И не следует забывать о его молчаливом присутствии: ведь без него, с логической точки зрения, вообще нет умозаключения.

Из этого примера явствует и другое: «общий закон», на который мы оперлись, в действительности таковым не является; в отношении его можно найти множество исключений и ограничений, которые в лучшем случае определяют его положение как статистическое. Но из этого следует, что наше «объяснение» тоже оказывается в достаточной мере и условным и относительным. Поэтому разговор о «лучших» и

«худших» исторических объяснениях имеет смысл: историческое объяснение будет тем *лучше* (или «сильнее»), чем меньше исключений допускает общий закон, взятый как посылка. Сравним, например, следующие положения: «всякая армия, считающая себя побежденной, будет побеждена», «всякий производственный процесс стремится к снижению расходов» и «всякий правитель стремится расширить подчиненную ему территорию». Ясно, что объяснение, основанное на третьем положении, будет слабее другого, построенного, скажем, на первом положении. Оттого и объяснения, предложенные одним автором, нередко бывают улучшены затем другим. Отсюда вытекает и то, что одни факты «объясняются» лучше других. Например, когда какой-либо исторический деятель избирает какие-то средства, то нам, при знании его целей, нетрудно определить, благодаря существующим техническим правилам, и его решения, а также задним числом отличить правильные решения от ошибочных. В области же основных решений, которые, в свою очередь, сами ставят цели, объяснение всегда труднее. И наконец, существуют человеческие действия: особо самоотверженные, особо злодейские или особо бескорыстные, которые удовлетворительно объяснить не представляется возможным. В подобных случаях историку следует помнить о человеческой свободе и признавать ее: «он это сделал по собственной воле».

Подобная позиция историка прямо противоположна позиции защитника «исторических закономерностей» любого типа. Действительно, к свободным поступкам человека надо применять, по мере исследования, множество общих законов в качестве посылок для объяснения различных фактов, и даже в определенных случаях уметь признаваться в том, что мы подходящими для объяснения средствами не располагаем. Сторонник же «исторических законов» всегда будет стремиться к тому, чтобы именно ими и только ими,

будет ли это уместно или нет, объяснять каждое происшедшее событие. Он, например, заявит, что любая философия отражает интересы господствующего класса, и, исходя из социо-политического положения милетской буржуазии, объяснит нам происхождение всего «из воды» (Фалес), потом из тех же посылок выведет происхождение всего «из воздуха» (Анаксимен) и преспокойно начнет заново, чтобы доказать, что Анаксимандр обязательно должен был утверждать, что всё произошло «из неопределенного». Надеюсь, что в свете сказанного порочность подобной методологии видна ясно: она ведет либо к выдумыванию одной из посылок, либо к построению логически недоказательных умозаключений. В обоих случаях подобное занятие не есть рациональная деятельность.

Если мы хотим, чтобы история делала свой вклад в человеческую культуру, она должна быть ею. Это необходимо. Действительно, исторические науки отличаются от экспериментальных; но разница состоит лишь в ударениях: для физика главная трудность заключается в установлении общих законов, а для историка, наоборот, весь интерес исследования — в разборе «исходных условий», то есть обстоятельств возникновения объясняемого факта. Но и физика и историка роднит наличие той же логической структуры самого объяснения.

6. УРОКИ ИСТОРИИ

Это и есть ответ на возражение, что строго научный подход низводит историю до простого фольклора. Совсем наоборот: только принятие его делает историю наукой, то есть превращает ее в то, чего мы от нее ожидаем. Кроме того, только такой подход позволяет четко и просто ответить на извечные «проклятые вопросы» исторической науки, которые

завели западных историков (да и наших, если бы положение в стране было нормальным...) в дебри, напоминающие времена схоластики. Приведем несколько примеров.

Вопрос: кто «субъект истории»? Личность или «широкие массы»? Ответ зависит от того, какую «историю» человек пишет или желает прочесть. Или, точнее выражаясь: зависит от того критерия, по которому отбираются рассказываемые факты. Скажем, для авторов придворной истории, или истории жития святых, или же мемуаров, «субъектами» будут личности. Но в таком случае из поля зрения этих авторов выпадут все коллективные события. Они смогут прекрасно объяснить подоплеку деятельности Наполеона, но ни словом не обмолвятся о таких важных вещах, как промышленная революция. История же экономики расскажет о промышленной революции, но будет не в состоянии проследить личное влияние Наполеона на последующие события. А историк, придерживающийся эклектической точки зрения («и то важно и другое»), расскажет нам о событиях обеих категорий, но куда менее подробно.

Или другой вопрос: какой из этих критериев «самый подходящий», или «самый правдивый», или «самый объективный»? Ответ: так как изложить все истинные исторические предложения всё равно невозможно, то любой избранный историком критерий позволит ему изложить лишь часть их. Следовательно, пока сознательно не фальсифицируются сами факты, они «правдивы» все в равной мере.

Решение же историка, о чем именно он хотел бы информировать читателя несколько подробнее и т. д., зависит лишь от его желания или требований публики, для которой он пишет (или же от цензуры, с которой он считается, но это, к счастью, не всюду), так что «субъективны» все эти решения тоже в равной мере.

Теперь отведем «очевидные» возражения как, например: надо, мол, отдать предпочтение тому критерию, который «обеспечит нам самую полную информацию». Да, но сам критерий зависит от того, о каком именно роде фактов мы желаем быть информированы: одно — Бородинская битва, другое — чудеса св. Франциска, третье — жизнь сельского кузнеца Кузьмы Власыча. *Всего* всё равно не расскажешь. Тогда «самое выдающееся»? А что значит «выдающееся»? По сравнению с чем? И по какому признаку? Или тогда нужно подбирать те факты, которые обуславливают наше настоящее? Но они все его обуславливают, даже самые «незначительные»; у испанцев есть такая пословица: «Из-за подковы погиб конь, из-за коня — всадник, из-за всадника — войско, из-за войска — царство». Пишущего эти строки будет весьма трудно убедить в том, что Паскаль был неправ, думая, что если бы нос Клеопатры был короче, весь облик мира изменился бы. Но даже если это и не так, то все-таки: по какому признаку отдавать предпочтение одним фактам перед другими? Всё равно критерий будет субъективным. Так что лучше честно признать: выбор того или другого критерия для отбора фактов — вещь всегда субъективная. Он всегда зависит от любопытства публики и от целей — педагогических, нравственных, политических и прочих, которые перед собой ставит историк.

А как же тогда с «нейтральностью» науки? Тогда выходит, что правы марксисты, когда заявляют, что история обязательно должна быть «партийной»?

Да, в некоторой степени они правы. Но правы и их противники. Сторонники «нейтральности» науки, применительно к истории, правы в следующем: если есть стремление удержать историю в рамках науки, то, во-первых, нельзя фальсифицировать факты; как они представлены в источниках (разумеется, достаточно достоверных), так их и надо включать в иссле-

дование, хотя бы они и были весьма неприглядны. И, во-вторых, если существует потребность эти факты объяснить, то надо пользоваться вышеизложенной научной методологией, тоже абсолютно нейтральной. Иначе получится не объяснение, а вымысел. Но это еще не всё. Странники «партийности» правы в том, что сам выбор фактов, составляющих «историю», вещь субъективная, всецело зависящая от цели, поставленной перед собой данным историком, данным обществом или правительством. Лучшее доказательство этому — огромная разница в содержании исторических преданий различных народов и различных эпох. И также то, что история может быть очень легко обращена и в орудие добра, и в орудие зла...

Попперовский подход позволяет решить в положительном смысле и другой старый вопрос¹³: возможно ли извлекать *уроки* из истории? Спор об этом идет уже столетиями: одни считают, что да, т. к. и в будущем может появиться аналогичная данной обстановке; другие возражают, что точно такая обстановка никогда повториться не сможет, а поэтому аналогия — для истории очень опасна. Практика же исторического объяснения, как мы его изложили, позволяет найти различие между поведением «подходящим» и «неподходящим» к прошлой ситуации в зависимости от того, выводимо ли то или иное поведение из разумной объяснительной схемы или находится с ней в противоречии¹⁴. Точно такая же ситуация, конечно, никогда не сможет повториться. Но разбор «неподходящего» поведения может направить наше внимание на тот общий закон, из-за которого оно оказалось «неподходящим». А закон, поскольку он общий, может оказаться приложимым и в будущем.

7. СОЛИДАРИЗМ И ИСТОРИЯ

Но раз история вещь, с одной стороны, научная (т. е. объективная), а с другой — субъективная, как и деятельность в области истории, которой заниматься стоит и для удовлетворения любопытства, и для извлечения уроков, читатель может меня спросить: ну, а вы сами, например, какие факты отобрали бы в историю?

Но поскольку я сам исторических трудов не пишу, то могу лишь изложить свои личные запросы, попытавшись объяснить, *какая история* интересна именно мне. А так как мой ответ будет базироваться на том, что я, во-первых, человек верующий, во-вторых, солидарист, то он, может быть, окажется и не таким уж сугубо личным.

Начну с напоминания общепринятого условия: в историю входят только *человеческие* поступки. История — наука о субъектах. Ее можно начинать с палеолита, но не с мезозойской эры.

Далее. Из всех возможных верных исторических предложений о человеческой деятельности, которых бесконечное множество, надо произвести отбор, но сделать это по каким-то определенным признакам.

Во-первых, я хотел бы, чтобы история была историей *добра*. У человеческой жизни на земле есть определенная цель: лицезреть Господа. Вот я и хотел бы, чтобы мой учебник истории максимально освещал средства к этому (мистика, мученическая смерть, богословие...) в виде, разумеется, конкретных примеров. Я не представляю себе, например, истории Средневековья без св. Франциска Ассизского или св. Фомы Аквинского, или же истории Индии без Свами Шанкара или Свами Вивекананда, или истории XX века без Фатимы, или истории России без св. Сергия Радонежского, Нила Сорского, св. Серафима Саровского.

Главный критерий (лично для меня), определяющий отбор «в историю», — *святость*.

Главный, но не единственный. Ведь я, к тому же, придерживаюсь мнения — вслед за всеми солидаристами, — что общественные, социальные учреждения, институты возникают с определенной целью (иначе люди их не создавали бы), причем эти цели лежат в нравственной плоскости. Следовательно, я хотел бы максимального освещения в истории — опять-таки на примерах — их успешной деятельности (т. е. соответствующей цели). Например — казачьи области: меня интересует, как они были организованы, как управлялись, как складывались отношения между людьми, вплоть до отдельных характерных случаев. Я хотел бы знать вообще об *успешной* человеческой деятельности — в области политики, экономики, искусства, науки — всё это также представляет для меня существенный интерес.

Не меньший интерес представляет для меня и *неудача*. Но в таком случае она должна всегда сопровождаться объяснением *причины*, по которой она произошла, с обязательной ссылкой на нарушение общего закона. Например: в концлагерях спаянные и дисциплинированные блатные выживали соответственно общему закону, что в конкуренции между человеческими группами побеждает та, которая обладает наивысшей внутренней солидарностью (все за одного, один за всех). А осужденные по пятьдесят восьмой, думающие каждый только о себе, вымирали именно из-за пренебрежения этим законом (когда ты молча смотришь, как раздевают твоего товарища, то разденут и тебя). Конечно, не все примеры так просты, но на то и необходимо искусство историка.

Иными словами, если меня интересуют и успехи и неудачи в любой области человеческой деятельности, то, следовательно, меня интересует *всё* прошлое человечества. Но и настоящее тоже интересует, пото-

му что повествование о настоящем — такая же «история» и определяется теми же правилами, хотя и называется «информацией» или «журналистикой». Однако, что касается истории прошлого и настоящего, одно важнейшее условие остается в полной силе, а именно, чтобы при этом разыскивались и указывались мне те *общие законы*, из-за которых удачи и неудачи произошли, чтобы я мог иметь их в виду при устройстве будущего (будь то личное, будь то общее — моей страны или всего человечества).

История — рассказ о решениях наших предков, их успехах и неудачах. Она может нас учить и, следовательно, накладывать на нас нравственные обязанности, указывать различные пути, но необходимости идти в определенном направлении или только по определенному пути она в себе не несет. История человечества будет такой, какой мы ее свободно изберем (к лучшему для нас или к худшему). Она не имеет никакого предопределенного «смысла», который мы могли бы знать: такое знание принадлежит исключительно Божественному Провидению. Следовательно, нам надо отбросить всякую теорию, которая стремилась бы затушевать нашу ответственность за наше собственное будущее, какой бы удобной она ни являлась. Ответственность за будущее принадлежит нам, и мы не имеем права от нее отказываться.

И именно для того, чтобы с ней справиться, нам и нужны *уроки* истории, чтобы не было о нас сказано: «Народам, не знающим своей истории, суждено её повторить».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. S. Th. 1, quaestio 116 (De fato).

² S. Th. 1, 86, 4.

³ S. Th. 1, 19, 8.

⁴ Основным источником послужили его книги: K. R. Popper.

The Poverty of Historicism, London, 1961; The Logic of Scientific Discovery, London, 1959 и The Open Society and its Enemies, New York, 1962.

⁵ То есть предложений, применимых ко всем членам данного класса: все люди — двуногие, в противоположность экзистенциальным, т. е. частным (некоторые люди — высокого роста), или единичным (этот человек — высокого роста).

⁶ То есть выражающую зависимость суждения от какого-нибудь условия: если ты меня позовешь, то я приду.

⁷ Это понятие в науке неприменимо из-за логических трудностей, из-за него возникающих и известных под термином «парадокс подтверждения». Вот он вкратце: например, мы хотим «подтвердить на опыте», что все лебеди белые. Следовательно, мы устанавливаем, что: этот лебедь белый, тот лебедь белый и т. д.

Все S являются P
 S₁ является P
 S₂ является P...

Но предложение «все лебеди белые» *равнозначно* предложению «всё, что не белое, не лебедь». И это второе предложение тоже возможно подтвердить: «это не белое и не лебедь»:

Все не-S являются не-P
 Не-S₁ является не-P.
 Не-S₂ является не-P...

Но не-S (не белое) может быть *чем угодно*, и не-P (не лебедь) тоже: следовательно, заменяя переменные, получается, что предложение «это серый кот» *подтверждает* предложение «все лебеди белые»! Всё подтверждает всё!

Лучшие логики мира тщетно искали выход из этого парадокса: при введении ограничивающих соглашений (скажем, нельзя подтверждать отрицательные предложения) то или иное понятие «подтверждения» сужалось до невозможности (скажем, становилось невозможным пользоваться понятием «отрицательный результат опыта»), иначе рано или поздно появлялся на горизонте «серый кот». В теории же Поппера парадокс исчезает сам по себе: утвердительные ответы нас не интересуют, мы ищем только отрицательные. Пока мы таковых не находим, предложение остается верным (и именно предложение «все лебеди белые» веками приводилось во всех учебниках как пример истинного общего суждения, по Попперу абсолютно правильно) до того момента, когда в Австралии обнаружили черных лебедей. Тогда наше общее суждение оказалось неверным, и мы его отбросили.

⁸ Это, впрочем, известно еще со времен Аристотеля: «Кроме как об общем, нет науки».

⁹ Разумеется, исключительно на Западе. В СССР, из-за последовательной и энергичной защиты Поппером «открытого общества», его разрешено только ругать.

¹⁰ Конечно, это равнозначно принятию определения, что «наука — то, чем занимаются ученые, а ученый — всякий, кто на это звание претендует», что звучит, мягко говоря, необычно. Но при подробном рассмотрении, я не думаю, чтобы это было уж так катастрофично. Ведь, честно говоря, я не вижу другого способа подвести под единое понятие «науки» такие различные вещи, как «точные науки» (например, математика), «естественные науки» (например, физика), «гуманитарные науки» (например, лингвистика), «исторические науки» (например, палеография) или «юридические науки» (например, административное право).

¹¹ Тогда как понятие «подтверждение» — это очень важно понятие — в науке не имеет места. См. прим. 7.

¹² Разумеется, я упрощаю. Развернутое объяснение будет скорее цепочкой умозаключений: «Всякое правительство стремится к максимальной эффективности своих вооруженных сил; флот — вооруженная сила; следовательно, всякое правительство стремится к максимальной эффективности своего флота. Флот без выхода в открытое море неэффективен; следовательно, всякое правительство стремится к тому, чтобы его флот имел выход в открытое море. Русское правительство — правительство, следовательно, и оно стремится... Если нерусская держава контролирует проливы, то русский флот не имеет выхода в открытое море; следовательно, русское правительство стремится к тому, чтобы никакая нерусская держава не...» (причем последняя посылка, в свою очередь, обоснована другой — независимой — цепочкой). Но каждое звено — или простая дедукция, или следует схеме Поппера (общий закон плюс единичная посылка).

¹³ Вернее, всех их. Скажем, как разделять «эпохи»? Первый Рим, второй Рим, третий Рим? Древность, Средние века, Новое время? Палеолит, мезолит, неолит? Ответ: само по себе это абсолютно всё равно. Важно лишь приготовить «клетки» для отобранных фактов, чтобы каждая из них заполнилась без особых контрастов или повторений.

Или: что «движет историю»? Географические факторы? Психические? Биологические? Экономические? Идеиные? Духовные?

Рассмотрим по порядку: *история вообще*, как мы видели, абстракция. Следовательно, ничто ею не движет. А каждый определенный исторический факт «движет» общий закон, взятый в основу его объяснения. Скажем, повышение цен после неурожая «вызвано» экономическим законом: «Всякое уменьшение предложения при постоянном спросе вызывает...» Но, например, массовое паломничество в Загорск — вряд ли.

По общему закону следует решать и спорные случаи. Скажем, одни историки считают крестовые походы религиозными войнами, вызванными идейными причинами. Другие возражают, что и они имели экономическую подоплеку: какие-то венецианские купцы извлекали из них немало выгоды (что тоже верно). Итак, посмотрим: можно ли сформулировать общий закон следующим образом: что когда налицо такие-то и такие-то экономические факторы, то возникают крестовые походы? Вероятно, гораздо более убедительно прозвучит следующее: всякий раз, когда доступ к святыням одной горячо исповедуемой религии закрыт последователями другой религии (а силы защищать святыню есть), то возникают крестовые походы. Следовательно, лучшим объяснением следует считать пока (ведь, может быть, завтра такой экономический закон откроют?) идейно-религиозное.

¹⁴ Что, кстати, отвечает еще на один «вечный вопрос»: должен ли историк давать оценки или стремиться только «понимать»? Разумеется, первое происходит на основании второго. Причем именно внимание к используемому общему закону может предостеречь от чрезмерного «понимания» людоедов — весьма, увы, распространенного на Западе. Если, скажем, мы «объясняем» зверства Сталина неблагоприятной внешнеполитической обстановкой, или требованиями индустриализации, или ликвидацией безграмотности, или еще чем-либо, то не следует терять из виду, что мы при этом пользуемся следующим общим законом: всякое правительство, попавшее в неблагоприятное внешнеполитическое положение (или желающее провести индустриализацию, или, скажем, научить людей грамоте), должно уничтожить в лагерях треть населения собственной страны.

Параграфы к философии «ученичества»

ОТ РЕДАКЦИИ

В этом номере журнала мы публикуем первую из цикла статей Евг. Шифферса, посвященных темам богословия и искусства, — «Параграфы к философии «ученичества». Статья посвящена размышлениям «раба Божьего Евгения» (как автор сам себя называет) об экзистенциальных отношениях Бога и человека и о путях нашего «обожения» через подвиг веры, молитвы и искусства. За «Параграфами...» следуют: «Размышления о 64 слове преп. Симеона, Нового Богослова», «Пророчество в имени», «О Духе Святом, Ипостасном Вседержителе Божественных Энергий» и очерки о художниках Э. Неизвестном и Э. Штейнберге. (Очерк «Скульптурный алфавит мастера Э. Неизвестного» был опубликован в сокращенном виде в журнале «Континент» № 8, 1976.)

Метод изложения «раба Божьего» несколько непривычен. Но его кажущаяся «заумность» глубоко связана с содержанием очерков и с течением мысли автора, стремящегося поделиться с читателем не только своими идеями, но и духовным опытом. Нам кажется, что усилия, которые, может быть, потребуются некоторым, мало искушенным в области аскетического богословия читателям, не пропадут зря — они позволят им проникнуть в мир человека, проникнутый глубокой духовностью и значением. Некоторым богословам-специалистам, наоборот, может показаться сомнительным, с их ортодоксальной точки зрения, то или иное утверждение автора (в частности, о роли иерархии в церковной жизни и истории), но нам кажется, что и ученых богословов должна покорить искренняя преданность «раба Божьего Евгения» традиции православных Отцов Церкви.

Евгений Львович Шифферс родился в 1934 г. в Москве. Окончил военную школу, затем — Ленинградский театральный институт. Был одним из известных молодых режиссеров (работал в театрах им. Ленинского комсомола, «Драмы и комедии» — в Ленинграде, в «Современнике» — в Москве, в области кино). Со временем работа в театре и кино была ему запрещена властями, но и сам

Шифферс занялся иными проблемами и интересами. Шифферс живет в Москве.

§ 0. ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Есть потребность в *предуведомлении* сказать хотя бы несколько слов благодарности корректным ученым: историкам культуры, филологам и семиотикам, — знакомство с работами которых, а также личные собеседования доставили автору этой статьи многие минуты радости. Хочется сказать даже бóльшее: знают ли они или не знают об этом, но, вскрывая корни общечеловеческой культуры, они помогают человеку Церкви осуществлять Благоую Весть об Евхаристии «всем языкам».

Воскресший Господь Иисус Христос поручил Своим свидетелям и будущим первым предстоятелям Евхаристического Соборания в Духе Святом проповедь «метанойи» всем «языкам», с последующим крещением во *имя* Его, во *имя* Святой Троицы.

Народы-«языки» осуществляют свое культурное строительство в соотношении с культовой практикой, священными текстами, методом аскезы.

Только Писание Израиля свидетельствовало об ожидаемом Мессии Христе. Другие священные тексты об этом Имени не знают! Как проповедовать? Как тактично свершать «перемену ума, за-умие» (метанойю) в обращении к народам, освященным традицией? По-видимому, ясно, что на уровне «символотворческой рефлексии», на уровне языка, подобная проповедь вряд ли возможна, но она возможна на уровне молчания, на уровне созерцательного опыта святого, мудреца, аскета, йога, на том уровне, который претворяется в знак, в символ, в язык ритуала и т. д. Нужен набор некоторых «единиц», которые могли бы метаописать в реконструкции общечеловеческие ожидания при сохранении уни-

кальности и красочности каждого опыта «языка», каждой культуры, чтобы свершить Евангелие Царствия «всей вселенной», «всей твари»! «Феноменология» опыта созерцания при открытии «третьего глаза», чистые феномены этого опыта могут быть по-разному символично-творчески описаны. Так создается культовая практика, соотносимая с внутренним ритуалом святого, «синонимичная» культовая практика, разлагающая Единую Культуру — Систему «Третий Глаз».

От культовой практики о-крест ветвится культурное строительство того или иного народа.

Так вот: в благодарность раб Божий хотел бы поведать, что «внутреннее зрение» постоянно созерцает во Свете и вспышках-свечениях радуги ряд «форм» (их можно для зрелищности зарисовать!), структура которых такова, что они могут быть описаны, как рога скота, ветви дерева, стебли лотоса, змеи, черви, хобот слона, перо птицы (особенно с учетом вихря вспышек-радуги: перо павлина!), бамбук, рис, соты пчёл, пряжа, ре́ки-ручьи, пряди волос, колеса, нити украшений, повозки, созвездия и прочее и прочее — «структуры» располагаются по «странам света» и так далее; открытие внутреннего зрения связано в «теле» с контролем некоторых узлов, которые «топографически» могут быть соотнесены с узлами желёз внутренней секреции и симпатической и парасимпатической систем (структуры, кстати, очень напоминают «нейронные» или «клеточные» формы на срезах микрорезультатов «фотографий»).

Переживание процесса полного открытия внутреннего зрения и внутреннего слуха (почти постоянно можно слышать тона сердца, соотносимые с различными звуками, описанными в йогической литературе, вплоть до звука Ом, как «звука» пчелиного кручения вокруг дерева) связано с переживанием присутствия в процессе громо-взрывоизвержения. Можно гипотезировать

тетически предположить, что филологические корни «знания» будут соотноситься со «зрением», или «слышанием», или «рассветом» в разных языках; что ритуальная практика будет сводиться к «выращиванию и уходу за садом», или «скотоводчеством» на заре, или «разведению водоемов», или «астрономическим» изыскам и прочее и прочее; словом, с теми символами, которые станут ритуальной рефлексией о «структурах», которые созерцаются во Свете украшенными дискретными «цветками», или «пчелками», или «венками» и т. д. Можно также твердо сказать, что эти мифологемы будут неукоснительно связываться с «денским»... На уровнях феноменологии созерцательного опыта «языков», на уровнях молчания во Свете святым всех народов можно благовествовать Господа Иисуса Христа и Церковь Его во Свете во славу Бога и Отца.

Для традиционного сознания доминантой, структурообразующей структуру (строение, «тело», функционально действующее) культуры является Культ. Я буду пользоваться в рабочем порядке двумя терминами, описывающими два культа, определяющими культурное делание народов, именно: «Культ Третьего Глаза» и «Культ Завета». Эти термины являются конституционными в языке описания, хотя второй термин — «Культ Завета» — может быть скорректирован и с самоосознанием «учеников», ориентирующихся на Ветхий и Новый Заветы. «Культ Третьего Глаза» лежит в основе всех «синонимичных» культур «языков» и может быть охарактеризован как «культ пути», культ «освобождения ОТ», тогда как «Культ Завета» характеризуется Библейским Каноном и может быть конструирован как культ «благовестия О».

Культ «освобождения ОТ», как строго ступенчатая лестница, учит освобождению от «неведения», самое же «неведение» характеризуется ошибочными «отождествлениями». Предлагая «правильное

сосредоточение», правильное и строго уровнево-ступенчатое «отождествление», в практике йогической или культовой медитации, культ Третьего Глаза (или культ «освобождения ОТ») на последних ступенях полагает молчание, «прекращение завихрений сознания», прекращение всяческих «отождествлений», ибо то, что было важным для определенной ступени, для определенного уровня отождествления в медитации, не имеет смысла или имеет другой смысл, с точки зрения иной ступени. Восхождение по ступеням пути «освобождения ОТ» полагает обретение знания («ведения» в оппозиции к «неведению»); «освящения» разных ступеней характеризуются разными уровнями «знания». Вершинным является знание о «пустоте», «ничтожности», или «отрицательности» всех и всяческих определений. Культ Третьего Глаза характеризуется вершинно молчанием, — *ничем!* По-видимому, Три Колесницы пути Будд могут описать все и всякие культовые практики, включая те или иные «отождествления» той или иной культуры в ту или иную ступень, уровень, сферу медитации Канона Дхармы. Ученики пути Будд могут включить любую культовую практику как ступень собственного Пути, собственного «пантеона». Причем это включение будет не насильственным, но строго ориентированным на аскетическое знание, знание о том, что всякий культ есть «синонимия», есть «символо-творчество» ступеней освобождения от недолжных «отождествлений». Здесь практика медитации играет огромную роль, а «историчность» мифо-драмы почти никакой. Семиотические реконструкции, свершаемые корректно, будут подтверждать эту точку отсчета. Итак, еще раз: культ «освобождения ОТ» будет характеризоваться «тайным знанием», «посвящением», ступенчатостью, чтобы завершаться молчанием и признанием, что *«всё»* есть иллюзия». Ср. — нирвана = иллюзия!

«Культ Завета», культ «благовестия О» самоочевидно характеризуется иными элементами структуры. Здесь не молчится, а «пророчествуется». Здесь не ступень за ступенью достигают освобождающего знания, но «избираются» Богом Живым. Здесь название по «имени» имеет огромное значение. Можно, вероятно, сказать, что Моисей или Исайя владели и знанием, но нельзя сказать, что они «медитировали» и восходили по ступеням «посвящения», — *нет*, Бог Сам Своей волей называет кого-то, открывается ему, чтобы тот пророчествовал, «благовествовал О». Первоапостолы, иудеохристиане, самосознавали, что культ «благовестия О» *Мессии и Его Царстве* актуализировался на них на первом Евхаристическом Собрании, где Петр занял место в священной топографии Тайной Вечери *Иисуса Христа*, в сошествии Духа Святого. Иисус Христос завещал, установил канон (икону) Тайной Вечери в Завете о Царстве Божиим, и апостолы сами совершили ее *во Христе* в иконном предстоятельстве иконы *Царства*, а не *первосвященства*, в апостоле Петре. Господь Иисус Христос *Сам* избрал их, *Сам* наставлял их сорок дней, являясь по Воскресении Своем из мертвых, *Сам* умолил Отца послать на них и их Евхаристическое собрание Духа Святого в день праздника Торы, или Пятидесятницу. «Культ благовестия О» реализовался в самосознании израильтян-апостолов, они стали свидетелями свершения «Культы Завета». Поэтому они, исполняя волю Господа своего, идут благовествовать «всем языкам» *Имя Господа Иисуса Христа*, всем языкам, практикующим культ как путь «освобождения ОТ» неведения в недолжных отождествлениях. Эти «два Культа» не могут враждебно встретиться, ибо учат и научают своих учеников разному. Ошибки могут быть выявлены при «монизме» точек зрения на Культ, тогда как их было и есть *два*. Синонимичность культур Культа Третьего Глаза, культур Культа «ос-

вобождения ОТ», никак не «противостоит» Библейскому Благовестию. Глупо буддистам говорить о «творении», но точно так же глупо говорить «библеистам» об отсутствии творения и о том, что этот текст еще не «доведен» до высшей ступени «знания о *ничто*»!

Парадокс сознания состоит в том, что оно вечно ищет «ошибки» у других, не ориентируясь на выполнение «своего»!

Историки культуры, филологи и семиотики при корректном исследовании не могут не заметить разницы. Раб Божий настаивает на соблюдении корректности и в том случае, когда ученый пребывает и в определенной «конфессии». Первичным элементом сознания ученого должна быть осторожность, ибо дело идет о Взаимоотношениях с Тем, где бестактность трагична не только в силу справедливости, но и в силу Высочайшего Всепрощения: ошибка прощается Высшим, но остается собственностью ошибившегося! Корректное же исследование могло бы послужить Великой Идее «освобождения ОТ», чтобы далее провозгласить «благовестие О»! Вопросам посильного уточнения, каким образом Завет о *Царстве* Божиим в *Крови Первосвященника Иисуса Христа* превратился в сознании именующих себя Его «учениками» в учение о «посвященных» клириках и «непосвященных» мирянах, превратился в ступенчатость «посвящений» клириков, иерархически венчающуюся «первосвященником» папой-патриархом, посвящены структурообразные страницы «Размышления о 64-ом слове» (преподобного Симеона Нового Богослова — Р е д.); вопросам, связанным с припоминанием «традиции», посвящены страницы о друзьях художниках, труждающихся в пластике и слове*.

* Очерки о художниках.

§ 1

Вот первое именование: «человек» есть «ученик», «обучающийся чему-то». В этом документировании термин «человек» употреблен смутно, но термин «ученик» самоочевиден. Каждый в таинственном пространстве своего «имени собственного» чему-то учится. Это дано каждому самоочевидно. Термин «ученик» — это просто тыкание вот сюда: название, представление, именование, прекращение анонимности. Дети учатся, отроки учатся, студенты «грызут гранит науки», «век живи, век учись»; послушник внимает наставлениям, умертвив волю, став именно по-слушником, слушающим другого, а не себя; школы и системы обучают миропониманию в своих терминах, и так далее. Ученик, «обучающийся чему-то по учебнику-тексту», — это самоочевидно. Так вот: ученик, обучающийся не просто чему-либо по каким-либо текстам, но тому, что он есть как данность и как за-данность «образ и подобие Божие», именуется «человеком». «Человек» есть термин Писания Апостольской Церкви, Господь вседержительно утверждает самоочевидность ученичества, предлагая апостолам научить все народы аскетическому крещению в смерть, чтобы возродиться в Теле Его от Бога Живого во Славу Бога и Отца. «Человек» есть термин Писания, — на этом следует волево останавливать внимание, ибо в буддизме, скажем, говорится-научается о «пяти скандхах», или «бодхисатве», в марксизме — о «пролетарии» и «эксплуататоре»; Мартин Хайдеггер конституирует экзистенциал «здесьбытие», Адвайта учит об Атмане и трех упадхи. Наличествующее многообразие текстов для «обучающегося чему-то» не несет в себе исторического релятивизма, увязуемого с вмещением текстов как культурных образований, когда-то и где-то данных и созданных, но предлагает «обучающемуся чему-то» сделать выбор, сознательно-волевой, доверительный выбор текста для обучения. Многооб-

разию текстов-учебников самоочевидно предстоит в преддверии входа в «храм науки» свобода выбора «обучающегося чему-то», «обучающегося тому или другому», свобода выбора того или иного текста для собственного «образования». Свобода выбора того или иного текста для осознанного «обучения чему-то» предполагает возможность свободы обучающегося от любого прежде-текста, возможность быть свободным от любого прежде-обучения для чистоты «обучения чему-то». Не столько «переучивание», сколько всегда «обучение». И это опять-таки дано сразу и самоочевидно, а документирование скорее лишь именуется и высвечивает самоочевидность, самоданность: век живи, век учись! Если бы таковая возможность чистоты «обучения чему-то» не была дана первично, то «обучение новому» было бы в принципе невозможным, ибо всякое новое воспринималось бы не столько в терминах прошлого обучения, от чего можно воздержаться, работая на молчание сознания, но всегда однажды воспринятым и изменившим чистоту обучения, омрачившим «природу сознания», что не так.

И вот свобода обучающегося вот так самоочевидно воспринимает, что люди различны, у них разные лица! Это дано до всяких слов-терминов, определяющих так или иначе различные лица: они различны! Полиция, как всегда, лучше философов, знает и это: снимая отпечатки пальцев, твердо знают, что одинаковых не существует! Итак, личностная различность и несводимость самоочевидна; несколько менее самоочевидна невозможность оценить единичную личностность как вообще единичность, ибо не с чем сравнивать: единичное — уникально, бесценно! Можно также заметить, что люди, хотя и различны самоочевидно по лицам, одинаковы по природе... Через самоочевидность различия лиц при единой природе, при наличии самоочевидной способности «обучения чему-либо», возможно быть наученным во Имя Иисуса Христа как

Божественного Лица Святой Триады, Единосущной и ТриИпостасной. Можно быть наученным, чтобы идти к встрече с Богом Живым, Открывшим Себя в Сыне Воплощенном. Сознательное живое являет себя шифром, а святой Божий — иконой Церкви как Тела Сына в элементе Евы, как Славы Бога и Отца. Святой через от-речение от любых речений, через таинства Тела и Крови Бога Живого, через молчание, молитву и то, что выше молитвы, вос-ходит к вос-приятию вечного Несозданного Света, научно открывает вечную жизнь, сокрытую в Боге и данную через призыв творения любящим Его, описывает-благо-повествует о новой жизни в строгих терминах *Открытия*, *Откровения* в *Евхаристии*, но не в терминах того или иного «прошлого опыта», не в терминах прежде-обученности на прежде-тексте.

Кажется ясным, что сама «идея» науки коренится в «идее» преодолеть время, найти такие «открытия», которые бы не зависели от похоти времени. Учиться следует «накрепко», «навсегда», надо «крепко вбить в голову» то-то и то-то. Хорошего ученика не «собьют с толку» обстоятельства. Да, идея науки коренится в жажде вечных обретений и откровений, которые не зависели бы от субъективизма похотствующих во времени, но пребывали бы в «жизнь вечную», могли бы вновь и вновь вос-производиться в эксперименте.

Установление таинства Евхаристии есть научное открытие, откровение на все времена, которому предложено первоучастникам-апостолам «научить все народы». Господь Иисус Христос Сам именуется Учителем.

Таинство Евхаристии есть таинство Тела и Крови Спасителя и пред-полагает в себе Ипостасное Воплощение Сына Божия.

В Евхаристии преодолевается отчужденность, причащаются человечеству во Христе, чтобы «человеками» постигать Бога Троидного как Истину и первооснову всякого благовестия и философствования.

Святые члены Церкви благовествуют собой об ученичестве во Христе. Они — свидетели, на-ученные, свидетели Евхаристии. Свечение драгоценных камней Церкви ошеломило «строго ученого» священника Павла Флоренского. Наука не может в своей идее научности отрицать Евхаристию, но в чистоте своего значения только утверждать. Реализация таинств Церкви по-двигом молитвы есть со-здание «факта причастия», факта-опыта Евхаристического служения, вход в которое свершается через молитвенное подвижение, по-двиг, и это «умное делание» святые называют «наукой наук». Евхаристия есть Церковь, есть жизнь Церкви как невесты Агнца в жертвенном богослужении. Ученичество «во Христе» есть обучение со-у-мертвию по вере в умном делании, чтобы, войдя в Церковь, именно в священную топографию Церкви как Евхаристии, именно «в», внутрь Евхаристии, пребывать в служении Богу и Отцу, опять-таки «во Христе». Именно поэтому Евхаристия как *завет* с Богом о Его Царстве в Крови Сына дает и богопознание как завещающую цель ученичества. Богопознание в Отце и посланном Им Иисусе Христе, богопознание во исповедании Иисуса Христа, «пришедшего во плоти», богопознание тайны посланничества, — всё это *цель* ученичества, обучению которой предложено научить «все языки», то есть всех тех, кто обучался в культурах «Культы Третьего Глаза» как культура «освобождения ОТ» неведения, выявляемого в недолжных отождествлениях. Культ «освобождения ОТ» на вершинной ступени говорит о Ничто или молчит. Пройдя обучение в культуре «освобождения ОТ», ученик этого культа оглашается свидетелями Христа о свершении, эсхатологии, другого Культа, Культа «благовестия О». Они предлагают «ничто» принять крещение во Имя Иисуса Христа, принять и м я, войти в Евхаристию, чтобы самим пребыванием в Евхаристии служить в жерт-

венном со-служении Невесты с Женихом, принесшим Отцу, пославшему Его *тайнственно*, Единосовершительную Жертву. Ученичество Христу и во Христе есть ученичество Предстояния у Святого Креста, — любимый ученик Христа Иоанн предстоял у Креста Голгофы.

§ 2. УЧЕНИЧЕСТВО КАК ПРЕДСТОЯНИЕ У СВЯТОГО КРЕСТА

«...Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (I Кор., 2,2);»

«Будем смотреть и умудряться, как прославить Бога. Прославляется же Он нами не иначе, как так, как прославлен был Сыном. Но чем Сын прославил Отца Своего, тем и Сам прославлен был от Отца. Будем и мы делать то же (что Сын) со тщанием, чтобы тем прославить Отца нашего, *Иже есть на небесех*, благоволившаго так наименоваться, и от Него быть прославленными славою Сына, *которую имел Он у Него прежде мир не бысть*. Это суть крест...» (Св. Симеон, Новый Богослов. «Деятельные и богословские главы», 113*; разрядка моя. — Р. Б. Е.).

«Тайна Воплощения включает в себе значение всех символов и тайн писания, сокрытый смысл всякого творения чувственного и сверхчувственного. Но тот, кто познает Тайну Креста и Гроба, познает существенный смысл всех вещей. Наконец тот, кто проникнет еще глубже и будет посвящен в Тайну Воскресения, познает конечную цель, ради которой Бог создал все вещи изначала» (Св. Максим Исповедник. «Сотницы умозрительные»).

Евхаристическое собеседование Господа Иисуса Христа, Учителя и учеников, которым предстоит далее научить всех тому, что они узнали от Учителя, центрируется установлением *Завета о Царстве Божием* в Крови Сына: «И я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, *Царство...*», — так пишет Лука, так говорит Павел, так говорят синоптики. Евангелию «Царства Божия», которое приблизилось с фактом

* См. Дебротолубие в русском переводе, дополненное, в пяти томах. Типография преп. Иова Почаевского. Jordanville, N. Y., USA, 1966, т. 5, стр. 30. — Ред.

Явления Мессии Христа, Бога Сына воплощенного, посвящена проповедь Иоанна Крестителя.

Евангелию Царства Божия посвящена проповедь Самого Господа. Большинство притч Писания изъясняют Царствие Божие. В Евхаристии устанавливается Завет о Царстве Божиим в Крови и Кресте Сына Божия, — Крест и Гроб Бога-Сына во плоти есть реализация Завета Бога Живого о *Царствии Божиим*. Пилат пишет на Кресте: «Царь Израилев», Сам Господь говорит, что Царство Его «не от мира сего». Воскресший Господь в сорокоднне Своих явлений тем, кто с «Ним ели», то есть тем, с кем был установлен Завет о Царстве в *Евхаристии*, говорит о Царстве Божиим. Говорит, что время восстановления «Царства Израиля» лежит во власти Отца. Петру даны ключи Царства Небесного. Дееписатель оканчивает Деяния Апостолов словами о том, что Павел неустанно и бесстрашно проповедует Царство Божие.

В Израиле Никодиму Господь говорит, что надо войти «в» Царство Небесное, чтобы увидеть Его. Вход «в» Царство Божие в свой черед возможен через возрождение от «воды» и Духа Святого. «Воды»-со-умертия в крещении по вере Христу, чтобы от Духа Святого в теле Сына возродиться причастником Царства, пребывать «в» царстве природы Агнчества, чтобы, пребывая «в» царстве, служить Богу и Отцу в тайне предстояния у Святого Креста Субботы для Воскресения и Вознесения.

Павел говорит, что со-воскресшие с Христом пребывают на небесах. Ученики Евхаристии не «внутри» себя, «ветхого», приемлют Святые Дары, но, умерев в крещении «ветхим человеком», возрождаются от «воды» и Духа, вступают «в» Евхаристию и посланными Евхаристически благовествуют ветхому миру.

Обыденное сознание переосмысляет природу таинств. Евхаристией «окармливаются» для «освяще-

ния». Возникают споры о «времени» предложения Даров, о субстанции «хлеба» и прочее. Совершающие «освящение» в Св. Дарах сакрализуются как прикасающиеся к «святыне», а причащающиеся сопребывают «профанами», над которыми священнослужители «жертвенника» совершают «посвящающие» акты. Царственное священство, народ Божий, избранный Богом во Христе, «профанируется», а «священники» сакрализуются ступенчато, вплоть до ступени «первосвященника», патриарха или папы, который уже и не «брат» для «епископов», а «отец».

Возможно ли это? Возможно ли строго продолжать словоупотребление «ученики» Христа по отношению к такому «ученичеству»? Представляется, что нет. Святые Царства Божия, святыне Церкви постоянно настаивают на необходимости первичного реализма умертвия «водой».

Ко времени «литургического синтеза», ко времени споров двух «пап» власти, *Бог Сам избрал* святого Симеона, Нового Богослова, который наиболее недвусмысленно свидетельствовал о переосмыслении «учения о Царстве».

Завет о Царстве Бога и Отца в Святом Кресте Сына переосмысливается в неочищенном покаянием сердце в споры о «первосвященнической власти». Парадоксы доходят до того, что, возводя экзегезу примата римского «первосвященника» к апостолу Петру, не замечают, что Петру даны ключи «Царства Божия», а не «священства Божия», не «первосвященства Божия», ибо *нет в Церкви и мире никакого другого Священника и Первосвященника, кроме Господа Иисуса Христа, принесшего Единосовершительную Жертву Богу и Отцу Своей плотью, разорвав завесу в Храме*. «Завеса» же в Храме вновь возникает, вновь выстраиваются «каменные» храмы, вновь в «алтарь» дозволено входить «посвященным» и не дозволено «профанам».

Подобное «обучение» воспринимают и «профаны» как само собой разумеющееся, и «посвященные». И только святые призывают к покаянию и *ТЕХ И ДРУГИХ*. Св. Симеон Новый Богослов скажет всем в Византии о необходимости проходить покаяние.

В дни нашего странствия богословский словарь совсем уж лишен слов о «Царстве». Ибо не входя реально «в» Царство, «в» Тело Христово, не вмещают ударения на «царственном священстве» народа Божия во Христе.

Церковь есть Царство Божие, а не священство Божие. Священник Божий и Архиерей вовек есть Иисус Христос, и *Он завещал* ученикам в Своей Крови и Своем Телe не «священство», а *Царство*.

Да, конечно же, Церковь как невеста Агнца имеет природу «священства», возглавляемого Женихом-Мужем Христом в Его «теле», но самоглавство Церкви лежит в природе Царства. Расхождения об «исхождении Духа Святого» лежат в сфере неразличения «священства» и «царства».

Сейчас православные не могут показать истинность «исхождения Духа Святого от Отца», ибо в собственной практике «посвященные-непосвященные» являются католиками, используя «догматические разногласия», чтобы отрицать примат римского «первосвященника» над собою, но сама доктрина «первосвященства» патриархов и пап обсуждению не подлежит.

§ 3. ПОСВЯЩАЕТСЯ А. ПЯТИГОРСКОМУ

Открытие о Боге Живом и Личном, Едином и ТриИпостасном еще раз утвердило знание древних святых всех культур об апофатическом определении «абсолюта», ибо Три-Единство не несет для сознания никакого положительного определения и призывает настраивать его на личную встречу.

Откровение и догматика святых говорят о Боге Живом; но, говоря о творении из ничего, не столько имеют в виду пространственно-временные характеристики заступающего нас бытия, о которых мы сами действительно ничего сказать не можем, ибо не имеем никакой, даже йогической возможности анализировать «начальность», сколько подчеркивают волевою акцию Бога Живого по призыву в Славе человека, ибо природно в Себе Святая Троица пребывает Ипостасью Отца как Единого Ипостасного Источника Единородного Сына и Духа Святого, от Отца исходящего. Догматические определения о «нерожденности» Отца, «рожденности» Сына от Отца и «исходности» Духа Святого от Отца не несут никакой положительной характеристики, но лишь апофатически подчеркивают Ипостасность Единосущного Бога, троичность Его в Единстве еще раз: откровение о Боге Живом, о Славе Его и о Святом Кресте Его для Церкви как Невесты дано в Библейском каноне и догматических определениях святой православной Церкви.

Уровни же аскетологических состояний в чистой феноменологии йогического опыта описаны наиболее полно в буддийском йоге «трех колесниц». Буддизм «трех колесниц» осознал аскетологию как науку, создал строгую терминологию для само-описания. Достижения его в этой сфере уникальны! Берусь предположить, что «если бы» христианский святой восхотел описать феноменологию состояний йогического сознания как такового и воспользовался для этой опытной цели терминологией абхидхармистских или праджняпарамитских уровней медитации, то он сделал бы это «буддистично». Хотелось бы поделиться с буддийским йогом, бодхисаттвой или архатом, радостью раба Божия о Христе...

Уже говорилось об «опасности» всё и вся видеть с точки зрения «объекта для медитации», с точки зрения «только представления», когда налицо совсем

иной подход, когда налицо не проекция йогом тех или иных состояний, но *Откровение*. Иисус Христос — это не вершинное «состояние йога», но Ипостась Троицы во плоти Тела Славы. Текст Откровения не может быть отброшен, когда переправа на тот берег окончена!

Буддизм в своих терминах для медитаций предлагает научение «состояниям сознания», описанным в номенклатуре дхарм так-то и так-то. «Пять клеш» в процессе практики за-мешаются «пятью мудростями», персонифицированными дхьяни-буддами.

Дхармы должны медитироваться как «пустые» для пребывания в Праджняпарамите. Сознание умолкает, открытое внутреннее зрение наслаждается «голубым свечением», йог пронизывается За-Предельным, постигает и не-постигает *Ничто*, чье Присутствие само-светится, в чье присутствие погружается йог в прекращении всякого восприятия, из чьего присутствия он воз-вращается иным, если воз-вращается.

Без Откровения *Ничто* о Себе, без диалога *Ничто* и йога, тот бессилён сказать что-то иное о *Ничто*, кроме того, что это — *Ничто*, что оно и есть *Реальность* и прочее и прочее.

Откровение о Себе дает Бог Живой Сам, — Он рассказывает о Себе одним и «молчит», присутствуя в *Ничто*, к другим.

Израиль стал избранным народом для воплощения. Там, где в прекращении осознания чего-либо при созерцании внутренним зрением (не «представлении» как «объект», а реальном постоянном «видении» свечения Нетварного Света) голубого свечения и радуги дхьяни-будд и прочее и прочее, там, говорю, где прекращается «ученичество пути будд», — там могло бы начаться вос-приятие Благовестия о Господе Иисусе Христе.

Господь Иисус Христос, собирающий «рассеянных чад Божиих», посылает свидетелей научить все

народы, все языки. Предполагается, что «языки» реализуют свои пути, а не являются себя их неисполнителями, их осквернителями, привязывающимися к идолу...

Святой Серафим Саровский договорился бы с Падмасамбхавой, — вот в чем моя уверенность!.. Он ничего не мог бы сказать тому «буддисту», который лишь «на словах» буддист; справедливости ради следует сказать, что он ничего не мог бы сказать всерьез и «христианину», который лишь «на словах» христианин. Святые говорили бы о феноменах постоянного созерцания, а не о «символо-творческих» опорах для медитаций ученика.

Современная нам «земля» (мир людей!) вос-производит в своем тяготении к «соединенным штатам мира» ситуацию Римской империи перед явлением Господа Иисуса Христа. И если «административно-юрисдикционная» сторона дела далека от разрешения, то взаимно-пронизывающее воздействие текстов культур налицо. На интеллектуальный рынок «выброшены» эзотерические тексты; то, что узнавалось и осмыслялось в спарке «старец-ученик», или в монастырях, делается предметом университетских лекций и докторских диссертаций. Культовый текст не ограничивается географией общины, его пользующей. «Языки» в какой-то словно бы спешке предлагают, стелют на ярмарочные столы яства своей «мудрости» для «пробы»...

Парадоксально, вероятно, что, пожалуй, «лучшим» введением к пониманию «феноменологической критики» Э. Гуссерля была бы теория дхарм как «состояний сознания», как «феноменов апофатического сознания, несущих свой признак; и наоборот: овладение принципами работы с сознанием в феноменологическом методе Гуссерля помогло бы «европейцу» приблизиться к пониманию теории плюралистического сознания буддистов, являемого в единицах Абхидхармы и уходящего в апофатику Шуньяты. «Феномен»

Гуссерля, как состояние сознания, приближает понимание «дхармы» в абхидхармистской номенклатуре. Можно было бы притчеобразно сказать, что таинственное пространство имени Эдмунд Гуссерль случилось в сфере дхьяны «бесконечное сознание», но не вышло за пределы этой сферы в сферу «ничего нет» или «прекращения чего-либо»... Таинственный контур имени Гуссерль спонтанно, интуитивно, транслирует (конституирует!) стояние в сфере «бесконечное сознание», но совершает это не в терминах буддийской школы, но в «своих» терминах. Гуссерль вновь и вновь «останавливает внимание» на назывании феноменов сознания, призывает к этому как к «строгой науке», но не переходит к сфере-горизонту тайны и негативности, к сфере «ничего нет», озабочивается трансляцией и т. д. и т. д. Это, вероятно, может служить косвенным подтверждением, что, во всяком случае, в «этом рождении» Эдмунд Гуссерль с буддийскими текстами не был знаком, но творил по интуиции сам свои тексты.

Абхидхарма же конспективно перечисляет единичные состояния сознания как объекты для медитации приверженца школы, пред-упреждая, что уровни состояний могут различаться в пределах школы сильнее даже, чем школы между собой. Махаяна считает, что таковой путь не выводит йога из состояния знаковости, поэтому в «Сердцевинной Сутре» Запредельного перазнания (Хридайя Сутра Праджняпарамиты) Авалокитешвара наставляет Шарипутру, йога, созерцающего потоки дхарм в пяти скандхах, йога, знающего номенклатуру Абхидхармы как объекты для медитаций; наставляет так: «пять скандх — пусты». Не ранее и позже, но здесь. Не просто: «всё пусто», но «дхармы пусты»; «скандхи пусты».

Здесь, на этом уровне, йог учится глубинной Праджняпарамите, учится вмещать, что вспышки «дхарм», созерцаемые его внутренним «третьим гла-

зом», вспыхивают из пустоты, как всплески цвечения пятицветной и единой мудрости будд. Дхарма несет свой признак, вспыхивает из апофатического «лона» Пустотности, и потому следует знать, что пора прекращать различения номенклатуры, но постигать в учебе глубинной йоги Праджняпарамиты, что все «дхармы пусты».

Когда буддийский йог знает пустотность «всех дхарм», то само это знание есть знак и положительное значение его пребывания в нирване как одном из представлений о высшем состоянии сознания. Высшее в этом случае не имеет «содержательного» значения, ибо нет такой «дхармы» (состояния сознания), как «нирвана». Высшее состояние сознания описывается и как «таковость», «пустотность», «наивысшее совершенное просветление» (пробуждение), «запредельное пере-знание».

Представление «нирвана» представляет значительные трудности для буддологов. Некоторые считают, что этимология слова «нир-вана» восходит к бесцветности, высвеченности. Для йогического «внутреннего зрения» такое понимание представляется «истинной факта», предельно конкретным, имеющим положительное и содержательное значение для этого уровня, где «сансара-пять скандх» есть то же, что и «нирвана» как сияние. Пустоты, сияние «природы будд». Цветовая феноменология йогического опыта внутреннего безопорного и постоянного созерцания контролируется (а не только объектно-медитативно «представляется»!).

Бесчисленные, единичные и мгновенные вспышки вступают в голубоватом отсвете в бесчисленные кон-фигурации потоков и свечений. Наблюдая все эти состояния со «стороны», йог означает просветленным, ибо, описывая все состояния, он и свободен от всех них: пятицветная радуга Мудрости вмещается как одно из тел, как «самбхогакайя».

И вот раб Божий во имя Господа Иисуса Христа во Славу Бога и Отца может сказать йогу этой заступенчатости: Свет есть Нетварная Энергия, со-относимая с Сущностью Триединого Бога Живого.

Свет сей просвещает всякого человека, грядущего в мир, Он — не тварен. Но постоянно пребывать в общении со Светом, особенно после «последних дней», когда свершится тайна Божия, тайна Славы — Успения, тайна Святого Креста, «воскреснуть» может лишь тот, кто причастен Церкви как Телу Христа, Которое Он Ипостасно вседержит, которое и удержит в последний день прославления Субботы, когда всё «тварное» прейдет. Раб Божий свидетельствует, как об «истине факта», об Имени Иисуса Христа не в элементе катафатической или апофатической теологии, но просто как об Имени *Собственном Бога Живого*. Догматические положения лишь уясняют истину факта Пришествия Господа Иисуса Христа во плоти (во дни Понтия Пилата), рожденного от Отца-Бога и Святой Марии-Богородицы как Сына Человеческого, установившего таинство Евхаристии «нас ради», страдавшего, Распятого, Прославленного в Славе Отца, Воскресшего, Вознесшего Ипостасно взятую «человеческую природу» (тварную природу!) чрез Святой Крест, дающего причастие этой природе, вознесенной в элемент Евы, Жены, ибо взята от Мужа в «успении» чрез Лицо Духа Святого, от Отца, как Единого Ипостасного Источника, *Исходящего* и Самовладычно природу сию, как природу Церкви преподающего для причастия «крещенному в смерть Христову» (то есть вышедшему за пределы всех ярусов тварного!), причем не то, чтобы «природа» нисходила с небес Вознесения, но прелагая, не символически, но онтологически, хлеб и вино предложения в Истинное Тело и Истинную Кровь Господа Иисуса Христа в «элементе Евы».

Господь Иисус Христос как «Новый Адам» воскрес в Телe; ипостасно вседержа воспринятую через

рождение от Святой Девы «человеческую природу», Он воскресил и ее, пройдя через Славу Отца в Себе «прежде бытия мира», Он «сохранил» взятое Им. В последующем Воскресении Вознесении Новый Адам отделил «природу» Новой Евы; Отец передал эту природу Церкви Духу Святому, завершающему «домостроительство тайны».

Библиография

ТЕРНОВЫЙ КУСТ

Библиография работ об освободительном антикоммунистическом движении народов России в годы второй мировой войны насчитывает уже более двух тысяч названий. Бóльшую часть ее составляют, конечно, воспоминания самих участников движения сопротивления двум страшнейшим в истории кровавым диктатурам — сталинской и гитлеровской.

Отметим сразу, что до сих пор самую малую долю в этой обширной библиографии составляют собственно документы в обычном понимании этого слова. Немалая часть документов, например, Власовского движения, сгорела в огне последней войны, а другая, судя по всему, стала достоянием советских сверхсекретных архивов. По части же сокрытия секретов советская сторона имеет немалый «исторический опыт». Причем мало надежды, что даже когда-нибудь историки будут иметь возможность держать в руках подлинные документы, ибо и в последней агонии советская карательная машина постарается их уничтожить. Открытия *такой* правды советская власть не должна хотеть никогда.

Уже четвертый десяток лет в СССР делается всё, чтобы растворить во лжи и клевете — других методов нет — самую память именно о широком сопротивлении миллионов россиян во время войны. Злобу и черную ненависть к одной из самых безнадежнейших (с точки зрения здравого смысла тех, кто жаждет относительного благополучия), но, может быть, одновременно к одной из самых осмысленнейших (с точки зрения инстинкта национального самосохранения) попыток сопротивления диктатурам сравнить можно, пожалуй, лишь с такой же по интенсивности злобой и ненавистью к религии.

Прот. Александр Киселев. Облик генерала А. А. Власова (Записки военного священника). Книгоиздательство «Путь жизни», Нью-Йорк, 1977.

И надо признать, что эта разрушительная работа уже принесла свои горькие плоды в нашем сознании. В нас утеряна, скорее подавлена воля к пониманию, воля к осмыслению. Почти каждый знает крылатое: имеющий уши да слышит, но только разучились мы слышать и слушать. Заставить воскреснуть волю к пониманию — не это ли движет сейчас свободным российским словом, как там, так и здесь?..

В отношении освободительного движения военных лет воскрешение воли к пониманию затруднено еще и немалым числом факторов, которые, по большей части, принадлежат к категории психологических.

Одним из них, возможно, не первым, но главным, является отсутствие в сознании исторических аналогий. Как ни опасны аналогии в плане умозаключений, но всё же, как правило, они составляют своеобразную точку опоры, позволяющую обычному человеку понять то или иное явление.

Уж как только ни называли то невиданное явление, что произошло с миллионами людей России во время войны: и пораженчество, и предательство, и массовое сотрудничество с врагом; и во всех этих трех случаях вдумчивые исследователи сразу останавливались перед размахом, размерами явления, которые сами по себе уже снижали императив отрицательности. Скорее можно было бы говорить о массовом безумии, но имевшаяся налицо сознательность совершаемого снимала и это предположение.

Другим фактором, затрудняющим наше понимание военных событий, является отсутствие у нас личного, *такого* по накалу, опыта. И в принципе — слава Богу, что не имеем его, но отрицательным результатом как раз и является ослабление воли к пониманию. Если попытаться образно определить ситуацию, в которой оказались тогда миллионы людей, то, пожалуй, наиболее точно ее определяют слова Кэрла Льюиса: «Делай со мной всё, что хочешь, — сказал Кролик Лису, — только не бросай меня в терновый куст» («Алиса в стране Чудес»). Конечно, это была ситуация «тернового куста» — однозначного позитивного выхода, выхода без потерь, физических и нравственных, не было ни у кого.

Нельзя не отметить и еще одного фактора, а именно — психологического воздействия на волю к пониманию факта *поражения* этого движения масс. Здесь мы имеем дело со

своеобразным «историческим законом», который издавна подмечен историками.

Необходимо учитывать, что именно психологические барьеры — самые труднопробиваемые. С волей к пониманию связан и своего рода страх перед пониманием. Отсюда и невыговариваемый принцип: я *не хочу* этого понимать, это для меня слишком сложно и больно.

Освободительное движение народов России военных лет имеет несчастливую судьбу в плане историографии. Справедливо замечено, что столь массовое, невиданное по массовости в истории движение не выделило из своих глубин ни одного летописца, ни одного писателя или историка (не в смысле ученого звания, а в смысле исторического чувствования) эпического масштаба, отвечающего масштабу движения. Хотя и сейчас еще живы люди, которые в свое время имели все данные и все основания ими стать, но не стали. Может быть, им и сейчас еще не поздно.

Вот и разбилась ненаписанная летопись на более чем две тысячи свидетельств, чаще всего пристрастных, эмоционально окрашенных, противоречивых да нередко еще и субъективно комментированных. Яркий пример последнего — работа по систематизации, начатая с самыми благими намерениями ныне покойным полковником Поздняковым, видным участником Власовского движения.

Но вот за последние лет пять появился ряд книг, которые без оговорок можно назвать ценными для понимания истоков, причин, внутреннего развития, цепи событий Российского освободительного движения. Этих книг пока еще совсем немного: А. Казанцев «Третья сила» (эта ценнейшая книга недавно переиздана), С. Стеенберг «Власов», Штрик-Штрикфельдт «Против Сталина и Гитлера», «Как мы покоражились» Ю. Сречинского, книга англичанина Н. Бетелла «Последняя тайна», имеющая прямое отношение к вопросу, а также более ранняя работа В. Артемьева «Первая дивизия РОА». Но собственно историческим исследованием надлежало бы назвать только одно: незаконченное, но имевшее все основания стать одним из самых добросовестных — исследование «Пораженчество 1941-45 годов и генерал Власов» Б. И. Николаевского. Это был, пожалуй, единственный случай за все тридцать лет, когда за дело взялся профес-

сиональный русский историк с редким историческим чутьем и, что уже совсем удивительно в наше время, с непредвзятым мнением.

Теперь в этот ряд встала и небольшая по объему книга бывшего военного священника, протоиерея Александра Киселева «Облик генерала А. А. Власова». Эта работа относится, по нашему мнению, к числу книг для «первого чтения», то есть таких, с которых лучше всего начинать, так сказать, *вхождение в тему*. Подзаголовок «Записки военного священника» несколько не отвечает своему смыслу, так как дает основание думать, что это записки, сделанные по ходу событий. На самом же деле книга отражает ретроспективное рассмотрение мнений и источников, которые появились уже после самих событий, вплоть до сегодняшнего дня. Несколько не думая умалить значение такой авторитетной моральной поддержки, как солженицынская, всё-таки невольно огорчаешься, что надо было тридцать с лишним лет ждать этой поддержки. Или действительно, каждое такое событие должно дожидаться своего Герцена?

Лишь во второй половине книги мы попадаем в тридцатилетней давности события военных лет. Облик генерала А. А. Власова раскрывается о. А. Киселевым с большой, можно сказать христианской, любовью и теплотой.

Но здесь необходимо остановиться на одном свойстве, присущем, пожалуй, большинству публикаций о событиях того времени и особенно о руководителях освободительного движения. Желая преодолеть непонимание потомков или не участвовавших в событиях современников, те, кто рассказывает нам об этих событиях, сознательно или бессознательно переводят нас в плоскость личностей, составлявших Российское освободительное движение. Но спросите у любого человека, даже демонстрирующего нежелание понять события, и каждый ответит, что у него к личным качествам командного состава и к большинству рядовых участников претензий нет. Многие из нас только порадуются еще одному подтверждению высокого духовного облика этих людей. Но ведь получается так, что и люди были прекрасные, и цели высокие, и намерения благородные, и подвиги ратные, и дела христианские, и помыслы чистые — но как же примириться сознанию человеческому, что всё это привело ...к

трагедии миллионов?! И тут мы выходим уже за рамки рациональных, логически обоснованных доказательств и вступаем в область иррационального. Может, поражение было расплатой, наказанием? Тогда за что? За то, что в начале было пораженчество, за отчаянное «хоть с чёртом, да против Сталина?» (но ведь и первому и второму были же, были оправдательные причины!), за естественное человеческое желание просто жить, купленное несправедливой ценой?! А возможно, что люди со скептическим складом ума просто скажут, — да и говорят, — что не следует даже очень хорошим людям, возможно, что, в первую очередь, именно хорошим, играть в сложные политические игры, если бремя политики им не под силу, не надо взваливать на свои плечи непосильную ношу исторической ответственности? Это всё вопросы и вопросы. Возможно, что именно в этих вопросах и в ответах на них лежит ключ к пониманию российской трагедии военных лет, которая еще ждет своего летописца. Историки говорят, что ценность исторического события или явления определяется тремя факторами: *что* оно разрушило, *что* оно создало и тем, *какую* легенду после себя оставило. В свете этих факторов ценность — а она, безусловно, есть — Российского освободительного движения как явления, равного по своему значению революции, еще не раскрыта.

Е. Брейтбарт

ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА ЦЕЛЕСТИНА

*И, окончив все искушение,
 диавол отошел от Него...*

(Лк, 4: 13)

В начале апреля 1292 года умер папа Николай IV. Время вакансии длилось... 27 месяцев: 27 месяцев заседал конклав кардиналов, расколотый на две враждующие группировки —

Иньяцио Силоне. Судьба одного бедного христианина. Перевод с итальянского Ирины Альберти. Napoli, 1968.

Орсини и Колонна, — прежде чем решил избрать папой («по наитию Св. Духа», а на деле — из трезвого расчета и компромисса) отшельника с горы Морроне — Петра — который принял имя Целестина V. Это «чудо» свершилось в конце августа 1294 года, а уже в начале декабря Петр Целестин отрекся от папского престола...

История краткого понтификата Целестина, провозглашенного в 1313 году святым, и послужила основой для книги известного итальянского писателя Иньяцио Силоне «Судьба одного бедного христианина», вышедшей в свет в 1968 году.

Силоне — ровесник века, не только свидетель, но и участник социально-политических событий, определивших лицо времени. Двадцатилетним, он стал одним из создателей итальянской компартии, а в тридцать пять порвал с ней, превратившись в активного антикоммуниста, что не помешало ему быть столь же активным антифашистом. В результате он вынужден был эмигрировать и вернулся на родину лишь после конца войны. Он был и остался анти-тоталитарным социалистом, и не случайно, уже в семидесятые годы, вошел в состав редколлегии антитоталитарного журнала «Континент»...

Автор небольшой заметки о Силоне в Краткой Литературной Энциклопедии неодобительно подчеркивает, что произведениям писателя «свойственны пессимизм, неверие в возможность изменить окружающий мир; социальная тематика соседствует с морально-психологическими схемами; писателя привлекают абстрактные проблемы свободы, справедливости и т. д.»

Читатель, знакомый с советской терминологией, без труда поймет, что, таким образом, любая проблема, решаемая с нормальных, общечеловеческих позиций, суть «абстрактная», то бишь никчемная и даже вредная...

Такие «никчемные» и «вредные» проблемы решает Силоне и в рецензируемой нами книге. Подумать только! Его, по собственным словам, «интересует судьба людей определенного типа, христиан определенного типа, и их попытки борьбы с современным миром». Уточняя морально-философскую («абстрактную») проблематику своей книги, он говорит: «...христианская действительность... представляется мне двойственной...: есть христианство, связанное с го-

сударством и опирающееся на соглашения политического характера, и есть христианство, исключительно обращенное к жизни будущего века; есть христианство, слившееся с исторической действительностью, и есть христианство пророческое. Каждый христианин должен поэтому либо довольствоваться тем пониманием христианства, которое в большинстве случаев просто навязывают ему обстоятельства, либо свободно выбирать то, что подсказывает ему его совесть»...

Собственно, из подобных размышлений и родилась книга. «То, что случилось с Целестином, — замечает в своеобразном предисловии к ней Силоне, — стало возможным, в значительной мере, благодаря иллюзии, что можно приблизить друг к другу и даже соединить эти два различных пути следования Христу. Но когда ему пришлось сделать окончательный вывод, он не поколебался»...

«...святой этот может предохранить от искушения власти», — полушутя, полусерьезно говорит писатель. В этой связи чрезвычайно любопытен диалог между кардиналом Каэтани (будущим папой Бонифацием VIII) и Целестином.

«Кардинал Каэтани. Странно, поистине странно. Я даже не воображал, что может существовать такой человек, как вы, полностью чуждый всякому желанию власти.

Целестин V. Искушение это и мне знакомо. Но с Божьей помощью я его, как мне кажется, поборо.

Кардинал Каэтани. Это-то меня и беспокоит. Это очень серьезное затруднение, и уже в ближайшем будущем его последствия для Церкви могут оказаться тяжкими...»

Каэтани искренно поддержал кандидатуру Пьетро Анджеллеро, или, как его называли, брата Петра, полагая, что он будет послушным орудием в руках кардиналов, то бишь римской курии. Точно так же теперь он искренно полагает, что папу Целестина необходимо поскорее убрать, ибо простодушный папа начисто не понимает (или не желает понять) реальной действительности. Ему, например, никак не втолкуешь, что «Церковь... представляет собой силу — высшую из сил — и должна вести себя в соответствии с этим. Управлять ею с помощью одной Молитвы Господней невозможно». Поединок цезарепаписта Каэтани с евангельским христианином (с *бедным христианином*, как он сам

себя именуется) Целестином кончается, как и следовало ожидать, катастрофой. Уже после добровольной отставки Целестина Каэтани, ставший Бонифацием, превращает его в своего пленника, потом заключает в крепость Фумона, где тот и умирает через два года, в 1296 году...

А ведь он, Бонифаций, всего-навсего просил Целестина отречься от своих убеждений, осудить своих преследуемых подопечных — целестинцев (монахов основанной им конгрегации), близких к спиритуалам, истинным последователям недавно умершего Франциска Ассизского, которые стремились возродить обычаи и дух апостольских времен. Эти ненавистные Бонифацию «еретики» с нетерпением ожидали (согласно учению Иоахима Флорского) «наступления Третьей эры в жизни человечества, царства Св. Духа, без Церкви, без государства, без принуждений, в обществе, основанном на всеобщем равенстве, на воздержании, смирении и кротости...» Эти сочувственные слова Силоне многое проясняют в его противоречивой позиции по отношению к религии и Церкви.

По его собственному признанию, он мыслит и чувствует как человек, который «вышел из всех Церквей и из всех партий», как человек, враждебный любым идеологическим объединениям (к которым он причисляет и Церковь) с определенной догматикой, правилами, дисциплиной, довлеющими над их членами. Его идеал — социалистический и христианский. Но это — христианство «без мифологии, сведенное к его моральной сути». Силоне считает, что именно это «остается»: «остается Отче Наш. Сохраняется вместе с христианским чувством братства и инстинктивной привязанностью к бедным людям также и верность социализму»...

Автор одной из двух предпосланных русскому изданию книги Силоне статей, В. Вейдле, говоря об осуждении Достоевским и частично Толстым идеи «добродетели без Христа», о том, что, при всем его руссоизме, Толстому все же больно «было оставаться с одним Иисусом, без Христа», справедливо добавляет, что Силоне «этой боли не ощущает». «Но разве Отче Наш не молитва? — вопрошает Вейдле. — И куда же деть, как оттуда изъять «да святится имя Твое»?» Своеобразная безрелигиозная религия, своеобразный христианский социализм в духе Ламеннэ мешают автору

увидеть — и на это опять же указывает Вейдле, — что христианство вообще невозможно, если смотреть на него практически, общественно, что оно отрицает «не только те или иные формы общественного устройства, но всякое «устройство» вообще»...

В заключение этой краткой рецензии хотелось бы сказать еще об одном. В своей книге Силоне попытался «изобразить вполне прекрасного человека» (слова Достоевского из письма А. Майкову об образе князя Мышкина). Нельзя не согласиться с автором второй, подробной статьи о творчестве Силоне (которое, к слову скажем, фактически неизвестно подсоветскому читателю), Ирвингом Хау, что таких попыток в современной литературе не так уж много. Конечно, Силоне не Достоевский, и его папа Целестин не князь Мышкин — ни по глубине, ни по размаху, ни по методу изображения. «Судьба одного бедного христианина» — не роман, где характеры показаны в развитии: герой статичен, заранее задан, и не потому, что это исторический персонаж. Книга Силоне относится к литературно-публицистическому жанру философского диалога, жанру весьма условному, хотя и обладающему немалой силой интеллектуально-эмоционального воздействия: достаточно вспомнить (хотя мы их и не сравниваем с книгой Силоне) замечательные «Диалоги» Платона или великолепного «Племянника Рамо» Дени Дидро... Своей книгой Силоне лишний раз доказал, насколько неисчерпаемы и свежи даже такие ныне непопулярные жанры, если произведение наполнено глубоким идейно-художественным содержанием.

Перед нами не перелицованная на современный лад история, не притча, не политическая аллегория, а драматическое повествование о далеком прошлом, но обращенное к нам, людям сегодняшнего дня. И оно нас не может не волновать, ибо в основе его вечный конфликт между Духом и Миром, еще в незапамятные времена расколовший человечество на два непримиримых борющихся лагеря — Света и Тьмы. Тьмы, которая, по мудрому слову Писания, так и не «объяла его». И об этом неравном трагическом противоборстве снова заставляет задуматься книга о судьбе одного бедного христианина.

В. Володин

ШАФАРЕВИЧ О СОЦИАЛИЗМЕ

Новый труд Шафаревича можно рассматривать как продолжение, в более развернутой форме, дискуссии, начатой им в статье «Социализм», вошедшей в сборник «Из-под глыб» (изд-во YMCA-PRESS, Париж, 1974 г.). Основной замысел автора — восстановить исторический контекст развития социализма как мировоззрения и как общественно-государственного образования, а также особо выделить те тенденции, которые, от Платона до Маркса, от государства инков до СССР сегодняшнего дня, явились идейными константами социализма. Сама структура книги отвечает ее дискуссионной направленности. За общим обзором «хилиастического» (1-я часть) и «государственного» (2-я часть) социализма следует подробный философский и макроисторический разбор описанных явлений, в ходе которого Шафаревич предлагает читателю свои выводы, в частности, о стремлении к самоуничтожению человечества, заложенном, по его мнению, в основу всего социалистического учения. Необходимо подчеркнуть, что автор отнюдь не претендует давать исчерпывающие ответы на те многочисленные и комплексные вопросы, которые, естественно, возникают на протяжении без малого 400 страниц его исследования. Его замечания и заключения больше служат нам ориентирами в процессе собственного размышления, нежели истолкованием приводимых им фактов. Одним из величайших достоинств книги Шафаревича является богатство и разносторонность используемого материала. Можно лишь удивиться редкой исторической и философской эрудиции человека, образование и специальность которого не имеют априори даже косвенного отношения к гуманитарным наукам. Кроме того, следует отметить, что книга, написанная живо и увлекательно, содержит тематику, в целом малоизвестную широкому кругу читателей. Например, она ярко освещает социалистические тенденции, наблюдавшиеся в учении еретических сект конца средневековья (катары, табориты, адамиты и т. д.). Именно в силу ее документальной насыщенности можно с уверен-

И. Р. Шафаревич. Социализм как явление мировой истории. Изд-во YMCA-PRESS, Париж, 1977.

ностью сказать, что книга Шафаревича явится важным вкладом в обсуждение одной из ключевых проблем современности.

В. В.

ИЗ ТЬМЫ ВЕКОВ

Мюнхенское издательство Хирмер уже давно снискало себе широкую известность великолепными изданиями по искусству. В свое время я имел удовольствие обратить внимание читателей «Граней» на три книги о раннехристианском искусстве этого издательства, а на сей раз остановлюсь, хотя бы кратко, на книгах об искусстве древних народов.

С полиграфической точки зрения все они изданы безукоризненно: переплет, бумага, печать, качество репродукций, графическое оформление — первосортны. Это о таких книгах сказано, что их «приятно взять в руки».

* * *

Первая из них¹ меньше остальных по размерам и объему, написана многолетним сотрудником газеты «Франкфуртер Альгемайне цайтунг» по археологии Э. Шульцем. В восемнадцати главах рассказано, с глубоким знанием истории и культуры, о некогда цветущих государствах и городах, ныне представляющих только «археологический ландшафт». Древние Афины, Микены, Крит, Троя, Олимпия, Дельфы, Пергамон, Иерусалим, Пальмира, Кипр, Рим — вот наиболее известные этапы этого «путешествия» в прошлое. Благодаря сочетанию эрудиции ученого с живой подачей материала, книга читается с большим интересом. Это не сухой справочник-путеводитель и не скучное научное исследование, а рассказ-анализ о религии, культуре и быте в те далекие време-

¹ Eberhard Schulz. Die archäologische Landschaft. Hirmer-Verlag. München. Ss. 200.

на. Читатель узнаёт много интереснейших подробностей, а по хорошо подобранным фотографиям ознакомится с уцелевшими памятниками архитектуры, скульптуры, живописи и керамики.

В конце книги имеется указатель имен и карта со всеми городами, упомянутыми в тексте.

«Крит, Фира и микенская Эллада»² — книга, вышедшая вторым изданием. Она достопримечательна тем, что в ней впервые публикуются снимки замечательных фресок и ваз, найденных на острове Фира осенью 1972 года.

Книга состоит из трех частей: текста, написанного греческим ученым, руководителем раскопок на острове Фире — проф. д-ром Сп. Маринатосом; фотографий, выполненных Максом Хирмером и его сыном Альбертом, и документального описания воспроизведенных объектов. Последняя часть снабжена картами, рисунками, планами и чертежами двorcов.

Пояснительный текст написан проф. Маринатосом удивительно интересно. Перед нами проходит история развития культуры на Крите, Фире и в Микенах с незапамятных времен, восстановленная кропотливым трудом ученых. Жизнь, искусство и ремесло — как названа одна из глав — представлены сохранившимися до наших дней материальными памятниками того времени.

Большой загадкой для ученых была причина внезапной гибели культуры Крита и Фир, т. н. миносской. Уже в 1939 году была выдвинута теория о стихийном бедствии — извержении вулкана, но война помешала ведению археологических поисков в подтверждение этой теории. Только в 1967 году начались систематические раскопки на о. Фире. Для выяснения причин катастрофы в 1969 г. там был созван международный конгресс разных ученых: археологи, филологи, вулканологи, геологи, сейсмологи, историки и ботаники с разных точек зрения освещали этот вопрос. В результате большинство участников пришло к заключению, что именно извержение вулкана на о. Фире и было той стихийной катастрофой, которая около 1500 года до Рождества Христова

² Spyridon Marinatos. Kreta, Thera und das Mykenische Hellas. Aufnahmen von Max Hirmer. Hirmer-Verlag, München, Ss. 170.

положила конец миносской культуре. Предполагают, что сам остров взорвался и был засыпан 30-метровым слоем лавы и пепла, а гигантские морские волны достигли Крита, находящегося всего в 120 км к югу, и опустошили его. Вызванное взрывом землетрясение довершило разрушение...

В конце текста дана сравнительная хронологическая таблица исторических периодов для Крита, Египта и Эллады. Из нее видно, что период «неолитикум» на Крите начался около 3100 лет до Р. Х., в Египте — на 100 лет позже, а ранний эллинский — 2500-1900 лет до Р. Х.

Фотографии составляют основную часть книги: 396 черно-белых и 58 цветных снимков. Они примечательны документальной достоверностью и высоким качеством исполнения. Знания ученого, многолетний опыт и художественный вкус сказались как на подборе материала, так и на его подаче. Упомянутые новые находки на о. Фире — впервые публикуемые снимки фресок и ваз — свидетельствуют об очень высоком уровне искусства миносской культуры. Это особая тема для искусствоведов и художников. Мастерски нарисованные, неповторимые по сюжетам и красочной гамме — пастельные коричнево-красные, серо-голубые, охристые, черные и белые тона — росписи стен и ваз представляют собою неизвестную доселе страницу живописи о. Фиры.

А. Русак

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ НА ОТЗЫВ

Б о г о л е п о в Игорь. В отмщение за Мадрит. Мемуары жертв холодной войны. В двух томах. В западном Самиздате. 1977. 784 стр.

В о р о н е л ь А. Трепет забот иудейских. Иерусалим. 1976. 186 стр.

В о р о н е л ь Н. Прах и пепел. (Драматическая поэма). Москва — Иерусалим. 1977. 188 стр.

К р а с н о в - Л е в и т и н А. Лихие годы. 1925—1941. Воспоминания. Изд-во YMCA-PRESS, Париж, 1977. 456 стр.

Р е г е л ь с о н Лев. Трагедия Русской Церкви. 1917 — 1945. Послесловие прот. Иоанна Мейендорфа. Изд-во YMCA-PRESS, Париж, 1977. 625 стр.

V a i n e s Jennifer. Mandelstam. The Later Poetry. Cambridge University Press. Cambridge - London - New-York - Melbourne. 1976.

L u c h t e r h a n d t Otto. Der Sowjetstaat und die Russisch-Orthodoxe Kirche. Eine rechtshistorische und rechtssystematische Untersuchung. Verlag Wissenschaft und Politik. Köln. Ss. 319.

КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА «ГРАНИ»

После выхода сотого номера журнала был выпущен специальный сборник:

ГРАНИ СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА с № 1 по № 100 1946—1976

с приложением содержания всех самиздатовских журналов и сборников, напечатанных в ГРАНЯХ, именного указателя авторов и тематического указателя.

Тираж ограниченный. 146 стр.

Цена 30 н. м. = 14 дол.

В связи с этим, а также в результате рассылки соответствующего циркуляра библиотекам и университетам, подписанным на ГРАНИ, появился большой интерес к пополнению комплектов журнала.

Книжный склад «Посева» располагает следующими номерами журнала: №№ 5, 8-18, 21-26, 38-47, 49-51, 53-55, 60-68, 70-80, 82-88, 91-95 и 97 по последний номер. Эти номера продаются по нормальной цене — 15 н. м. = 7.00 дол. (№ 100 — 20 н. м. = 9 дол.) Все остальные номера имеются на складе в подержанном состоянии и продаются по разным ценам. Книжный склад охотно сделает смету любому, желающему пополнить свой комплект.

Полный комплект журнала (№№ 1-100) продается за н.м. 4.500. Одновременно книжный склад готов приобретать в обмен на книги своего издания следующие подержанные номера журнала ГРАНИ: №№ 1-4, 6/7, 19-20, 30, 33, 36, 48, 52, 57 и 59.

Книжный склад
«Посева»

**ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ,
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность публиковать те Ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным достоянием автора, — они становятся достоянием российской литературы. Поэтому наше издательство считает прямым своим долгом способствовать публикации таких рукописей, поскольку новая российская литература лишена политической цензурой права голоса у себя в стране.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

P o s e v - Verlag,
623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Это обращение составлено нами до подписания Советским Союзом Всемирной конвенции об авторском праве. Однако ничего не изменилось: свобода творчества подавляется, как и раньше. Поэтому мы будем продолжать помогать российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО « П О С Е В »

**Редактирует Редакционная Коллегия
Главный редактор Н. Б. Тарасова**

Адрес редакции журнала «Грани»:
**Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
6230 Frankfurt/M., Sossenheim**

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ПОСЕВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

и

ВОЛЬНОЕ СЛОВО

САМИЗДАТ · ИЗБРАННОЕ

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

НЕПОСРЕДСТВЕННО В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

«Посев» (12) и «Вольное слово» (4) — 75 н. м. (34 дол.)
«Посев» (12) — 60 н. м. (27.50 дол.)

ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И МАГАЗИНЫ:

«Посев» (12) и «Вольное слово» (4) — 90 н. м. (41 дол.)
«Посев» (12) — 72 н. м. (32.50 дол.)

Журналистическая подписка на «Посев» и «Вольное слово», с правом использования всего материала, не снабженного «copyright», без предварительного согласования: в Европе — 260 н. м., в остальном мире (с возд. доставкой) — 300 н. м. (135 дол.)

Доплата за воздушную доставку:

«Посев» и «Вольное слово» зона I: 24 н. м. (11 дол.);
зона II: 36 н. м. (16.50 дол.)
«Посев» зона I: 20 н. м. (9 дол.);
зона II: 30 н. м. (13.50 дол.)

I зона — Северная Америка и Ближний Восток
II зона — Южная Америка и Дальний Восток

Цены в долларах — только для ориентировки, в случае изменения курса уплате подлежит указанная в марках сумма. Если нет других указаний, подписка по истечении года автоматически продолжается.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:

«Посев» — 6 н. м.

«Вольное слово» — 6 н. м.

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку):

При подписке непосредственно из издательства —
48 н. м.

При подписке через представителей и книжные
магазины — 60 н. м.

Цена в розничной продаже — 15 н. м.

Розничная цена № 100 — 20 н. м.

В США и КАНАДЕ:

При подписке непосредственно из издательства —
22 ам. дол.

При подписке через представителей и книжные
магазины — 27.50 ам. дол.

Цена в розничной продаже — 7 ам. дол.

Розничная цена № 100 — 9 ам. дол.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

или на почтовый счет

Postcheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.